

# Фиаско

**Автор:**

Станислав Лем

Фиаско

Станислав Герман Лем

Пилот Пиркс #11Эксклюзивная классика (АСТ)

«Фиаско» – последний роман Станислава Лема, после которого великий фантаст перестал писать художественную прозу и полностью посвятил себя философии и литературной критике.

Роман, в котором под увлекательным сюжетом о первом контакте звездолетчиков&amp;землян с обитателями таинственной планеты Квинта скрывается глубокая и пессимистичная философская притча о человечестве, зараженном ксенофобией и одержимым идеей найти во Вселенной своего идеального двойника.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Станислав Лем

Фиаско

© Stanislaw Lem, 1986

© Перевод. В. Кулагина-Ярцева, 2015

© Перевод. И. Левшин, наследники, 2017

## Бирнамский лес

– Отличная посадка.

Человек, сказавший эти слова, не глядел на пилота, стоявшего перед ним в скафандре, со шлемом под мышкой. По круглому залу диспетчерской с подковой пультов в центре человек прошел к стеклянной стене и уставился на внушительный – даже на расстоянии – цилиндр корабля, обгоревший у дюз. Из них еще сочилась на бетон черная жижа. Второй диспетчер – широкоплечий, в берете, обтягивающем лысый череп – пустил ленты записи на перемотку и, пока бобины крутились, углом неподвижного глаза, как птица, косил на прибывшего. Не снимая наушников, он сидел перед беспорядочно мигающими мониторами.

– Да, вроде получилось, – бросил пилот. Он слегка прислонился к выступающему краю пульта, делая вид, что это нужно, чтобы расстегнуть тяжелые перчатки с двойной застежкой. После этой посадки колени у него дрожали.

– Что это было?

Стоя у окна, тот, маленький, с мышинной мордочкой, небритый, в потертой кожаной куртке, хлопал себя по карманам, пока в одном из них не нашлись сигареты.

– Неполадки с тягой, – буркнул пилот, несколько удивленный сдержанным приемом.

Его собеседник, уже с сигаретой во рту, затянулся и спросил сквозь дым:

– А отчего? Вы не знаете?

«Нет», – хотел ответить пилот, но промолчал, потому что считал, что должен бы знать. Лента перемоталась. Конец ее описывал круги вместе с катушкой.

Высокий встал, отложил наушники и только теперь кивнул пилоту и хриплым голосом представился:

– Лондон. А это Госсе. Приветствуем вас на Титане. Что будем пить? Есть кофе и виски.

Молодой пилот смутился. Ему были знакомы фамилии этих людей, но он никогда их не видел и почему-то решил, что этот высокий должен быть начальником, что он – Госсе, а оказалось наоборот. Мысленно перестраиваясь, он выбрал кофе.

– Что привезли? Карборундовые головки? – спросил Лондон, когда они втроем уселись за столик, выдвинутый из стены. Кофе дымился в стаканах, похожих на лабораторные – с носиками. Госсе запил кофе желтую таблетку, вздохнул, закашлялся и высморкался с таким трудом, что глаза налились слезами.

– Излучатели тоже привезли? – обратился он к пилоту.

Тот опять смешался, поскольку ждал большего интереса к своему подвигу, и только кивнул. Не каждый день у ракеты глохнет тяга при посадке. Вместо перечня грузов у него на языке вертелся готовый рассказ – как он, не пытаясь продуть дюзы и увеличивать основную тягу, сразу отключил автоматику и сел на одних бустерах, чего никогда не пробовал, кроме как на тренажерах. Да и то давно. И ему снова пришлось перенастроиться.

– Привез, – ответил он и остался доволен тем, как сказано: с бесстрашием человека, сумевшего избежать опасности.

– Да не туда, куда надо, – усмехнулся низенький, Госсе.

Пилот не понял, шутка это или нет.

– Как не туда?.. Ведь вы приняли меня. Приказали сесть, – уточнил он.

– Пришлось.

– Не понял.

- Вы должны были сесть в Граале.

- Тогда почему вы заставили меня сменить курс?

Ему сделалось жарко. Распоряжение о посадке звучало категорично. Правда, гася скорость, он принял по радио сообщение Грааля о каком-то несчастном случае, но мало что понял из-за помех. Он шел к Титану со стороны Сатурна, чтобы гравитация планеты погасила скорость – ради экономии топлива, – и корабль зацепил магнитосферу гиганта, так что раздался треск на волнах всех диапазонов. И почти сейчас же он принял вызов этого космодрома. Навигатор должен повиноваться диспетчерской службе. А здесь ему даже скафандра не дали снять, принялись допрашивать. Он все еще ощущал себя сидящим в рубке – ремни отчаянно врезались ему в грудь и плечи, когда ракета уже ударилась раскоряченными лапами в бетон, а бустеры еще не выгорели до конца и гудели огнем, заставляя корпус сотрясаться.

- Так в чем дело? Где, собственно, я должен был сесть?

- Ваш груз принадлежит Граалю, – объяснил низенький, вытирая покрасневший нос. У него был насморк. – А мы перехватили вас над орбитой и вызывали сюда, потому что нам нужен Киллиан. Ваш пассажир.

- Киллиан? – удивился пилот. – Его нет на борту. Со мной только Синко, второй пилот.

Его собеседники остолбенели.

- А где Киллиан?

- Сейчас, наверное, уже в Монреале. У него жена рождает. Он улетел на товарном челноке до того, как я стартовал.

- С Марса?

- Разумеется, откуда еще? А в чем дело?

– Бедлам в Космосе не хуже, чем на Земле, – заметил Лондон, с такой энергией набивая трубку, словно собирался ее раздавить. Он злился. Пилот тоже.

– Что же вы не спросили меня?

– Мы были уверены, что он с вами. Так было в последней радиограмме.

Госсе снова вытер нос и вздохнул.

– Так или иначе, стартовать вы не можете, – наконец сказал он. – А Мерлин ждет не дожидается излучателей. Теперь все на меня свалит.

– Но ведь они тут. – Пилот мотнул головой вбок – туда, где в тумане за стеклом темнел стройный веретенообразный силуэт корабля. – Кажется, шесть. Из них два гигаджоулевых. Любой туман или тучу разгонят.

– Я же не взвалю их на плечи и не оттащу Мерлину, – возразил Госсе, настроение которого ухудшалось на глазах.

Небрежность и своеволие: второразрядный космодром – как признался его начальник – перехватил корабль после трехнедельного рейса, не убедившись, есть ли на борту пассажир. Это возмутило пилота. Но он не спешил заявлять, что им самим придется заниматься грузом. Пока не ликвидируют последствия аварии, ему ничего не сделать, хотя бы и хотелось. Он молчал.

– Понятно, что вы останетесь у нас. – С этими словами Лондон допил кофе и поднялся с алюминиевого стула.

Лондон был огромен, как борец-тяжеловес. Он подошел к стеклянной стене. Пейзаж Титана – застывшее бешенство гор неземного цвета в рыжем отсвете прижавшихся к их хребтам коричневых туч – служил прекрасным фоном для его фигуры. Пол башни слегка подрагивал. Вот развалюха, подумал пилот. Он тоже встал, чтобы посмотреть на свой корабль, который наподобие маяка высился над стелющимся туманом. Когда порывы ветра разгоняли туман, на дюзах нельзя было рассмотреть пятен перегрева. Может быть, расстояние и полумрак, а может, просто остыли.

– У вас есть гамма-дефектоскопы?

Корабль для него был важнее, чем их неприятности. Сами виноваты.

– Есть. Но я не позволю никому подойти к ракете в обычном скафандре, – ответил Госсе.

– Вы думаете, это реактор? – взвился пилот.

– А вы?

Низкорослый начальник тоже встал и подошел к ним. Из решеток в полу под окнами дул теплый воздух.

– При спуске температура подскакивала выше нормы, но гейгеры молчали. Наверное, это только дюза. Может быть, лопнула керамика в камере сгорания. Мне и казалось – что-то вылетает.

– Керамика само собой, но утечка тоже была, – решительно заявил Госсе. – Керамика не плавится.

– Это лужа? – удивился пилот.

Они стояли у двойных стекол. Действительно, под кормой набралась черная лужа. Ключья тумана, гонимые ветром, то и дело закрывали корпус корабля.

– Что у вас в реакторе? Тяжелая вода или натрий? – спросил Лондон. Он был на полголовы выше пилота.

Из радиоприемника донеслось попискивание. Госсе подбежал, надел наушники и ларингофон и стал тихо разговаривать с кем-то.

– Не может быть из реактора, – беспомощно сказал пилот. – У меня тяжелая вода. Раствор чистый, как слеза. Прозрачный. А это – черное, как смола.

– Значит, полетело охлаждение дюзы, – согласился Лондон. – И керамика потрескалась.

Он говорил об этом как о чепухе. Его совсем не беспокоила авария, из-за которой пилот и корабль застряли в глухой дыре.

– Наверное, так... – подтвердил молодой человек. – Наибольшее давление в соплах – при торможении. Стоит керамике в одном месте треснуть, как ее всю выметает главная тяга. Из дюзы штирборта все вылетело.

Лондон не отвечал. Пилот беспокойно добавил:

– Может, я сел слишком близко...

– Глупости. Хорошо, что вы вообще удачно сели.

Пилот ждал каких-то еще замечаний, похожих на похвалу, но Лондон повернулся и окинул его взглядом – от растрепанных светлых волос до белых башмаков скафандра.

– Завтра отправлю техника сделать дефектоскопию... Вы поставили реактор на холостой ход?

– Нет. Выключил совсем. Как в доке.

– Хорошо.

Пилот уже понял, что рассказывать в подробностях о борьбе с ракетой над самым космодромом некому. Кофе – это хорошо, но разве те, кто сам навязался ему в хозяева, не должны предоставить ему комнату и ванну? Он мечтал о горячем душе. Госсэ все еще бормотал в микрофон. Лондон склонился над ним. Ситуация была неясна, но полна напряжения. Пилот уже ощутил: эти двое заняты чем-то поважнее его приключений, и это связано с информацией от Грааля. В полете он слышал обрывки фраз – в них было что-то о машинах, которые куда-то не дошли, и об их поисках.

Госсе повернулся вместе с креслом; натянутый провод стащил наушники ему на шею.

- Где ваш Синко?

- На борту. Я приказал ему проверить реактор.

Лондон продолжал вопросительно смотреть на начальника. Тот отрицательно покачал головой и буркнул:

- Ничего.

- А их вертолеты?

- Вернулись. Видимость нулевая.

- Ты спрашивал о грузоподъемности?

- Они не справятся. Сколько весит гигаизлучатель? - обратился он к пилоту.

- Точно не знаю. Около ста тонн.

- Что они делают? - допытывался Лондон. - Чего ждут?

- Киллиана, - ответил Госсе и с досадой выругался.

Лондон вынул из стенного шкафа бутылку «Белой лошади», встряхнул, как бы проверяя, подойдет ли это средство для создавшегося положения, и вернул ее на полку. Пилот стоял и ждал. Тяжесть скафандра перестала ощущаться.

- У нас пропали два человека, - сказал Госсе. - Не дошли до Грааля.

- Не два, а три, - мрачно поправил Лондон.

- Месяц назад, - продолжал Госсе, - мы получили партию новых Диглаторов. Шесть штук - для Грааля. Грааль не мог принять корабль, потому что не успел

заново забетонировать космодром. Когда сел первый грузовой корабль, «Ахиллес», с массой в девяносто тысяч тонн, арматура, несмотря на все гарантии, полетела. Хорошо, корабль не перевернулся. Его вытаскивали из провала на верфь двое суток. Срочно заливали цемент, клали огнеупорную облицовку, чтобы открыть порт. А Диглаторы стояли у нас. Господа эксперты сочли, что перевоз ракетой не окупится, а тут еще капитан «Ахиллеса», Тер Леони. Как ему перепрыгнуть со своим девяностотысячником на сто восемьдесят миль с Грааля сюда – это ведь не блоха. Мерлин прислал двух лучших водителей, и те на прошлой неделе провели две машины в Грааль, они уже там работают. Позавчера те же люди вернулись на вертолете за другими машинами. На рассвете они вышли, в полдень перевалили Большой Гребень, а когда стали спускаться, порвалась связь. Масса времени была потеряна из-за того, что от Гребня проводку берет на себя Грааль. Мы думали, они не откликаются, потому что находятся на нашей зоне радиотени. – Госсе говорил спокойно и монотонно.

Лондон стоял, отвернувшись к стеклянной стене. Пилот слушал.

– Тем же вертолетом вместе с операторами прилетел Пиркс. Он посадил своего «Кювье» в Граале и хотел повидаться со мной. Мы знакомы много лет. Вечером за ним должен был прилететь вертолет, но Мерлин послал все, что было, на поиски. Пиркс не хотел ждать. Или не мог. Он должен был завтра стартовать и хотел сам присутствовать при подготовке корабля. Ну, и он заставил меня разрешить ему вернуться в Грааль на одном из Диглаторов. Я потребовал с него слова, что он пойдет по южной дороге, более длинной, но лежащей вне впадины. Он дал слово и не сдержал. Я видел по ПАТОРСу, как он сходит во впадину.

– Что такое ПАТОРС? – спросил пилот. Он был бледен, на лбу выступили капли пота. Он ждал объяснений.

– Патрульный орбитальный спутник. Он проходит над нами каждые восемь часов и как раз в тот момент дал мне изображение. Пиркс спустился вниз и исчез.

– Пиркс? – спросил пилот, изменившись в лице. – Командор Пиркс?

– Да. Вы с ним знакомы?

– Знаком! – взорвался пилот. – Я служил под его началом как стажер. Мой диплом подписан им. Пиркс? Он столько раз выбирался из самых худших...

Он замолчал. В нем все кипело. Обеими руками он поднял шлем, словно собирался запустить им в Госсе.

– Как вы разрешили ему идти на Диглаторе? Как вы могли? Это ведь командир крейсеров, а не шофер...

– Ему были знакомы такие машины, когда вы ходили в коротких штанишках, – возразил Госсе.

Видно было, как ему хочется оправдаться. Лондон с каменным лицом подошел к мониторам, среди которых сидел Госсе с наушниками на шее, и вытряс у него перед носом в пустую алюминиевую бобину пепел из трубки. Посмотрел на нее, как бы осознавая, что это, надавил обеими руками, и трубка переломилась. Лондон бросил обломки, вернулся к окну и застыл, сплетя за спиной пальцы.

– Я не мог ему отказать...

Госсе, несомненно, обращался к Лондону, который, как бы не слыша, рассматривал сквозь стекло летящие клубы рыжего тумана. Лишь нос ракеты высовывался из него время от времени.

– Госсе, – неожиданно отозвался пилот, – вы дадите мне машину?

– Не дам.

– У меня диплом оператора тысячников.

У Госсе блеснули глаза, но он повторил:

– Не дам. Вы никогда не работали на Титане.

Пилот молча стал расстегивать скафандр. Отвернул широкий металлический воротник, отстегнул наплечные клапаны, под ними – молнию, сунул руку глубоко за пазуху и вытащил бумажник, измятый от долгого ношения под тяжелой

оболочкой скафандра. Наплечные клапаны разошлись, как отпоротые. Он подошел к Госсе и стал выкладывать перед ним документы, один за другим.

– Это с Меркурия. Там у меня был Бигант. Японская модель. Восемьсот тонн. А вот право работать с тысячниками. Я бурил ледовый материк в Антарктиде шведским морозоходом, Криоператором. Вот фотокопия второй награды на состязаниях в Гренландии, а это – с Венеры.

Он кидал фотографии, как козырные карты.

– Я был там с экспедицией Холли. Вот это мой термопед, а это – моего сменщика. Обе модели экспериментальные, неплохие. Только климатизация текла.

Госсе поднял на него глаза:

– Ведь вы пилот?

– Я переквалифицировался. Как раз у командора Пиркса. Сначала я служил на его «Кювье». Потом командовал буксиром...

– Сколько же вам лет?

– Двадцать девять.

– Как вам удалось так переметнуться?

– Когда хочется, выходит. К тому же водитель планетных машин овладевает любым новым типом за час. Все равно что пересест с мотороллера на мотоцикл.

Он помолчал. У него была еще пачка фотографий, но он не достал ее. Собрав с пульта разбросанные снимки, сунул их в потертую кожаную обложку и опустил во внутренний карман. В распахнутом скафандре, покрасневший, он стоял рядом с Госсе. На мониторах продолжали двигаться ничего не значащие полосы света. Лондон, усевшись на ограждение из труб у стеклянной стены, молча наблюдал эту сцену.

– Ну, скажем, я дам вам Диглатора. Предположим. Что вы станете делать?

Пилот улыбался. На лбу его блестели капельки пота. Светлые волосы слежались под шлемом.

– Возьму излучатель и пойду туда. Гигаджоулевый, из трюма. Вертолеты Грааля такого не поднимут, но для Диглатора сто тонн – пустяк. Пойду и немного осмотрюсь. Мерлин может прекратить поиски с воздуха. Я знаю, сколько там гематитов. И тумана. С вертолета ничего не разглядишь.

– А вы с машиной сразу пойдете на дно.

Пилот улыбнулся шире, блеснув белыми зубами. Госсе заметил, что у мальчишки – он был почти мальчишкой, только массивный скафандр добавлял ему возраста – были такие же, как у Пиркса, глаза. Может быть, чуть посветлее, но с теми же морщинками в углах глаз. Он щурился и поэтому выглядел словно большой кот на солнышке – невинно и проникательно.

– Он хочет войти во впадину и «немного осмотреться», – сказал Госсе Лондону, не то спрашивая, не то приглашая посмеяться над дерзостью пилота.

Лондон не шевельнулся. Госсе встал, снял наушники, подошел к картографу и, как штору, растянул большую карту северного полушария Титана. Показал две толстые изогнутые полоски на желто-лиловом фоне, исчерченном линиями горизонталей.

– Мы находимся здесь. По прямой до Грааля сто десять миль. Старым маршрутом, по черной линии, сто сорок шесть. Мы потеряли на нем четверых, когда Грааль бетонировали и единственный космодром был у нас. Тогда применялись дизельные ногоходы, работавшие на гиперголе. Для здешних мест погода стояла прекрасная. Две партии машин дошли до Грааля без потерь. А потом за один день пропало четыре большехода. В Большой впадине. В этом заштрихованном кружке. Без следа.

– Я знаю, – заметил пилот. – Я это изучал. Помню имена этих людей.

Госсе коснулся пальцем точки, в которой от черной дороги на юг отходила красная.

– Сделали обходную дорогу, но никто не знал, как далеко простирается ненадежная территория. Туда бросили геологов. Можно было послать и зубных врачей. Тоже понимают в дырках. Ни на одной планете нет блуждающих гейзеров, а здесь есть. Вот это голубое на севере – Mare Nupicum. Мы и Грааль – в глубине суши. Но это вовсе не суша. Это губка. Mare Nupicum не заливают впадину между нами и Граалем, потому что весь его берег – плоскогорье. Геологи пришли к выводу, что этот так называемый континент похож на Балтийский щит – в Фенноскандии.

– Они ошиблись, – вставил пилот.

Госсе, похоже, собирался читать ему лекцию. Пилот поставил шлем в угол и, усевшись на стуле, как примерный ученик, сложил руки. Он не знал, то ли Госсе хочет объяснить ему маршрут, то ли отговорить от похода, но ситуация ему нравилась.

– Именно. Под скалами лежит углеводородная мерзлота. Гнусность, обнаруженная при глубинных пробах. Вечный лед, но не настоящий, из углеводородных полимеров. Он не тает даже при нуле по Цельсию, а мы ни разу не зарегистрировали температуры выше минус девяноста градусов. Внутри впадины полно старых кальдер и сдохших гейзеров. Эксперты усмотрели в этом остаточную вулканическую деятельность. Когда гейзеры ожили, прилетели спецы повыше рангом. Сейсмоакустика обнаружила глубоко под скалами сеть пещер, таких разветвленных, каких свет не видывал. Произвели спелеологическую экспертизу – люди гибли, страховка выплачивалась, даже консорциум в конце концов раскошелился. Потом сказали свое слово астрономы: когда луны Сатурна находятся между Титаном и Солнцем, гравитационный прилив достигает максимума, щит суши выгибается и из очагов под мантией выдавливается магма. У Титана ядро все еще расплавлено. Магма застывает, прежде чем подняться из глубин по расщелинам, но, застывая, подогревает всю Орландию. Если Mare Nupicum как вода, то основание Орландии – как губка. Закупоренные подземные русла прорываются, и так возникают гейзеры. Давление доходит до тысячи атмосфер. Никогда не знаешь, где эта мерзость выскочит. И вы, сударь, жаждете очутиться там?

– Именно так, – в том же изысканном стиле ответил пилот.

Ему хотелось положить ногу на ногу, но в скафандре это было невозможно. Он помнил, как приятель, попробовавший принять такую позу, перевернулся вместе

со стулом.

– Речь идет о Бирнамском лесе? – добавил он. – Мне уже удирать отсюда или мы можем поговорить серьезно?

Госсе пропустил это мимо ушей.

– Новая дорога обошлась в целое состояние. Нужно было кумулятивными зарядами пробить эту стену лавы – главный поток, извергнутый Горгоной. Даже Mons Olympus Марса не идет в сравнение с Горгоной. Динамит оказался слабоват. Был у нас некий Харенштайн – может, вы о нем слышали? – так он предлагал, вместо того чтобы проходить сквозь этот вал, выбить в нем ступени, сделать лестницу. Дешевле выйдет. В конвенции ООН должно быть положение, запрещающее допускать в астронавтику идиотов. А вал Тифона пробили специальными термоядерными бомбами, до того проложив в нем туннели. Горгона, Тифон – просто удача, что у греков было столько богов и теперь можно одалживать их у мифологии. Новую дорогу открыли год назад. Она пересекает только котловину в южной оконечности впадины. Эксперты ручались, что она безопасна. А что касается подземных пещер, то они тянутся везде – под всей Орландией. Три четверти Африки! Титан, остывая, вращался по сильно вытянутой орбите. Приближался к пределу Роша, куда попало множество лун меньшего размера, которые Сатурн перемолол для своих колец. Кипящий Титан остывал в перисатурнии, в нем образовывались пузыри, которые замерзали в апосатурнии, а потом пошли осадочные явления, оледенения, они покрыли эту пузырчатую, губчатую, аморфную скалу и задвинули ее в глубину. Неправда, что Mare Nupicum приливает туда только при определенном восхождении всех лун Сатурна. Его приливов и извержений гейзеров предвидеть нельзя. В принципе, об этом знают все, кто работает здесь, и перевозчики, и пилоты, и вы. Хотя дорога стоила миллиард, тяжелым машинам должно быть запрещено ею пользоваться. Все мы находимся на небесах – в стародавнем смысле. Разве не об этом же говорит название шахты – Грааль? Только небеса, оказалось, требуют чудовищных затрат. Можно было бы организовать дело получше, да помешала бухгалтерия. Страхование за погибших платится большая, но она меньше капиталовложений, которые снизили бы уровень опасности. Я почти все сказал. Может быть, они еще выберутся, даже если их затопило. Начинается отлив, а панцирь Диглатора выдерживает сто атмосфер. Кислорода им хватит на триста часов. Мерлин выслал рабочие подушечники и две сверхтяжелые машины для ремонта. Безотносительно к тому, что вы умеете, не стоит. Не стоит ломать шею. Диглатор – один из самых тяжелых...

– Вы собирались закончить, – прервал его пилот. – Я задам только один вопрос, ладно? А как же Киллиан?

Госсе открыл рот, закашлялся и сел.

– Ведь именно для этого я должен был привезти его, – добавил пилот, – разве не так?

Госсе потянул карту за нижний край, отчего она с шумом свернулась, взял сигарету и проговорил над огоньком зажигалки:

– Это его работа. Он знал территорию. Кроме того, у него контракт. Я не могу запретить операторам заключать договоры с Граалем. Я могу только подать в отставку и, наверное, так и сделаю. И могу дать от ворот поворот любому герою.

– Вы дадите мне машину, – спокойно сказал пилот. – Я могу сейчас же переговорить с Граалем. Мерлин выслушивает, дает распоряжение, и все. А вы схлопочете выговор. Мерлину безразлично, Киллиан или я. А инструкцию я знаю наизусть. Не стоит терять времени, господин Госсе. Дайте мне поесть и вымыться, а потом обсудим детали.

Госсе беспомощно посмотрел на Лондона, но если ждал поддержки, то напрасно.

– Он пойдет, – отозвался заместитель. – Я слышал о нем от спелеолога, который летом был в Граале. Он точно такой же, как твой Пиркс. Тихий омут. Вот трубку жаль. Идите мыться, коллега. Душевые внизу. И возвращайтесь сразу, а то суп остынет.

Пилот с благодарностью улыбнулся Лондону и вышел. По пути он подхватил свой белый шлем так стремительно, что концы шлангов ударились о скафандр. Едва за ним закрылась дверь, Лондон принялся стучать кастрюлями около плиты.

– Что это даст? – спросил Госсе со злостью из-за его спины. – Ты тоже хорош!

– А ты, друг шелковый? Зачем дал Пирксу машину?

- Пришлось. Он дал слово.

Лондон повернулся к нему с кастрюлей в руках.

- Послушай, очнись! Слово дал! Когда такой дает слово, что бросится за тобой в воду, то сдержит его. А если даст слово, что будет только смотреть, как ты тонешь, то все равно бросится. Разве я не прав?

- Правота и реальность – разные вещи, – обронил Госсе без особой уверенности. – Чем он сумеет им помочь?

- Может найти следы. Возьмет излучатель.

- Перестань! Лучше послушаем Грааль, вдруг у них есть сообщение.

До сумерек было еще далеко, но вокруг освещенной грибообразной башни стало темно из-за спустившихся туч. Лондон хлопотал у стола, а Госсе, куря сигарету за сигаретой, вслушивался в безрезультатные переговоры базы Грааля с водителями гусеничных машин, которые вышли на поиски после возвращения вертолетов. В то же время он не переставал думать о пилоте. Не слишком ли поспешно, не задавая вопросов, он сменил курс, чтобы сесть у них?

Двадцатидевятилетний командир корабля с дипломом капитана дальних рейсов, должно быть, тверд как кремень и увлечен делом. Иначе бы он так быстро не продвинулся. Его юношеская отвага жаждет опасностей. Сам же он, Госсе, если и был в чем виноват, то лишь в недосмотре. Если бы вовремя спросил про Киллиана, то отправил бы корабль в Грааль. При этом главный диспетчер Госсе после двадцати часов, проведенных без сна, не отдавал себе отчета в том, что мысленно – сам не желая того – уже похоронил прибывшего. Как же его зовут? Госсе знал, но забыл и счел это признаком надвигающейся старости. Он прикоснулся к левому монитору. Зеленым вспыхнули буквы:

КОРАБЛЬ: ГЕЛИОС ГРУЗОВОЙ II КЛАССА

ПОРТ ПРИПИСКИ: SYRTIS MAIOR

КОМАНДИР: ПИЛОТ АНГУС ПАРВИС

## ВТОРОЙ ПИЛОТ: РОМАН СИНКО

### ФРАХТ: НУЖНО ЛИ ДАТЬ СПИСОК ГРУЗОВ

???

Он погасил экран. Вошли новоприбывшие – в свитерах и спортивных брюках. Синко, худой, кудрявый, поздоровался смущенно, так как в реакторе, оказывается, все-таки была течь. Все принялись за консервированный суп. Госсен никак не мог отделаться от мысли, что у храбреца, которому он завтра доверит машину, искажена фамилия. Его должны звать не Парвис, а Парсифаль – это перекликается с Граалем. Но было не до шуток, и игру в анаграммы пришлось оставить при себе. После короткого спора – что же они едят, обед или ужин, – оставшегося нерешенным из-за разницы времени – корабельного, земного и титановского, – Синко поехал вниз, чтобы поговорить с техником насчет дефектоскопии, запланированной на конец недели, когда реактор остынет и предполагаемые трещины в облицовке затянутся. Пилот, Госсен и Лондон включили в пустой части зала диораму Титана. Изображение, созданное голографическими проекторами, объемное, цветное, с обозначенными маршрутами, охватывало площадь от северного полюса до тропиков. Его можно было уменьшать или увеличивать, и Парвис рассмотрел все пространство, отделявшее их от Грааля.

Комната для гостей, выделенная для него, была небольшая, но уютная, с двухъярусной кроватью, столом-партой, креслом, шкафом и такой тесной душевой, что, намыливаясь, он то и дело стучался локтями о стены. Он лег поверх одеяла и начал штудировать толстый справочник по титанографии, взятый у Лондона. Сначала он поискал в указателе БИРНАМСКИЙ ЛЕС, но его не было ни на букву «Л», ни на «Б». Наука не приняла это название. Он листал книгу, пока не дошел до гейзеров. Автор говорил о них не совсем так, как Госсен. Титан остывал скорее, чем Земля и другие внутренние планеты, и запер в своих глубинах огромные массы сжатых газов. Из пустот в его коре они давят на основания старых вулканов, проходят в подземные сети их магматических жил, разветвленных и протянувшихся на сотни километров. И при определенной конфигурации синклиналей и антиклиналей могут выйти в атмосферу фонтанами летучих веществ, вырывающимися под высоким давлением. Химически сложная смесь содержит двуокись углерода, которая тут же превращается в снег, уносится ветром и покрывает толстым слоем равнины и

горные склоны. Ангуса скоро утомило сухое изложение. Он погасил свет, накрылся, с непривычки удивляясь тому, что ни одеяло, ни подушка не пытались взлететь – сказывалась почти месячная привычка к невесомости, – и тут же заснул. Какой-то внутренний толчок вернул его к яви так внезапно, что он открыл глаза уже сидя, готовый вскочить с постели. Ничего не соображая, оглядывался, растирая челюсть. Это движение напомнило ему, о чем был сон. Бокс. Он дрался с профессионалом, заранее предчувствуя поражение, и, получив нокаут, грохнулся как подкошенный. Он широко открыл глаза – комната качнулась, как рубка при крутом повороте, – и совсем очнулся. Мгновенно, как короткое замыкание, вспомнилась вчерашняя посадка, авария, спор с Госсе, совещание у диорамы. Комнатка была маленькая, как кабина на грузовом корабле, и это напомнило ему последние перед расставанием слова Госсе: что он в юности служил матросом на китобое. Бреясь, он раздумывал над решением, которое принял. Если бы не имя Пиркса, он бы дважды подумал, прежде чем так безоглядно добиваться этого похода. Под струйками то горячей, то ледяной воды попытался запеть, но выходило как-то неуверенно. Это значило, что ему не по себе. Он чувствовал, что в его замысле больше глупости, чем риска. Ничего не видя из-за брызг, бьющих по запрокинутому лицу, секунду размышлял, не отказаться ли. Но знал, что это исключено. Так мог бы поступить только мальчишка. Он хорошенько вытерся, убрал постель, оделся и пошел искать Госсе. Теперь он торопился. Надо было еще ознакомиться с неизвестной моделью, потренироваться, восстановить нужные рефлексы.

Госсе нигде не было. От основания контрольной башни в две стороны расходились строения, связанные с ней туннелями. Расположение космодрома было результатом недосмотра или просто ошибки. По данным разведки, проведенной автоматами, месторождения должны были располагаться под дном этой вулканической долины, точнее, старого кратера, образовавшегося в сейсмических судорогах Титана. Сначала сюда бросили машины и людей и принялись монтировать ряды бочкообразных домов для шахтерских бригад, но затем разошлась весть, что миль на двести дальше находятся необычайно богатые и легкие в эксплуатации урановые залежи. В руководстве проекта произошел раскол. Одни хотели ликвидировать космодром и начать все заново на северо-востоке, другие настаивали на продолжении работ, так как эти месторождения – за впадиной – хотя и лежат на поверхности, но невелики, а стало быть, малопродуктивны. Сторонников ликвидации начатых разработок кто-то назвал искателями священного Грааля, и название Грааль закрепилось за территорией вскрышных работ. А космодром и не ликвидировали, и не расширили. Дело кончилось компромиссом, обусловленным нехваткой сил – вернее, капиталов. И хотя экономисты неоднократно подсчитывали, что

выгоднее закрыть космодром в старом кратере и сосредоточить работы в Граале, победила логика сиюминутности. К тому же Грааль долгое время не мог принимать больших кораблей, а в кратере Рембдена – это имя геолога, его открывшего – не было ремонтного дока, погрузочных порталных кранов, новейшей аппаратуры; поэтому шел вечный спор, кто кому служит и кто что с этого получает. Кажется, часть руководства продолжала верить в уран, залегающий под кратером; пробурили даже несколько пробных скважин, но дело двигалось еле-еле, потому что, как только удавалось собрать здесь немного людей и техники, тут же вмешивался Грааль, через дирекцию отбирал их, и опять постройки пустели, а брошенные машины простаивали внутри мрачных стен кратера Рембдена. Парвис, как и другие транспортники, не принимал участия в таких стычках и конфликтах, хотя был в курсе их, – этого требовало деликатное положение любого работающего на транспорте. Грааль все собирался явочным порядком ликвидировать космодром, особенно после того, как построил свою посадочную площадку, а Рембден сопротивлялся, но сопротивлялся он или нет, однако очень пригодился, когда замечательный бетон Грааля стал проваливаться. В душе Парвис полагал, что корни этого постоянного раздора носят психологический, а не финансовый характер, поскольку существует два местных и тем самым соперничающих патриотизма – кратера Рембдена и Грааля, а остальное – всего лишь попытки найти доказательства в пользу той или другой стороны. Но этого не стоило говорить никому из работающих на Титане.

Помещения под контрольной башней напоминали брошенный подземный город, и просто жалость брала, сколько материалов валялось здесь зря. Однажды, еще помощником навигатора, он совершил посадку на Рембдене, но тогда они так спешили, что он даже не сошел с корабля – всю стоянку проторчал в трюме, присматривая за выгрузкой, а сейчас, видя нераспакованные, с нетронутыми печатями контейнеры, узнавал с нараставшим неудовольствием те, которые привез в прошлый раз. Безлюдье раздражало его, он начал потихоньку аукать, как в лесу, но ответом ему был только мертвый звук эха в тесных коридорах склада.

Он поехал на лифте наверх. В помещении диспетчерской обнаружил Лондона, но и тот не знал, куда делся Госсе. Никаких новых сообщений из Грааля не поступало. Мониторы мигали. В воздухе ощущался запах поджаренной грудинки. Лондон жарил на ней яичницу. Скорлупки бросал в раковину.

– У вас и яйца есть? – удивился пилот.

– Представь себе. – Лондон был с ним уже на «ты». – Один электронщик с язвой желудка привез целый курятник, соблюдал диету, а как же. Сначала все ругались – грязи от них много, кормить нечем, но он оставил несколько кур с петухом, и теперь мы даже довольны. Свежие яйца – лакомство в здешних местах. Садись. Госсе сам найдется.

Ангус ощутил голод. Неэстетично запихивая в рот огромные куски яичницы, оправдывался перед самим собой: то, что его ждало, требовало запаса калорий. Зазвонил телефон. Его вызывал Госсе. Поблагодарив Лондона за изысканный завтрак, Ангус одним глотком допил кофе и спустился этажом ниже. Начальник, одетый в комбинезон, ждал в коридоре. Время пришло. Ангус сбегал в гостиницу за своим скафандром. Ловко надел его, присоединил шланг скафандра к кислородному баллону, но не открыл вентиль и не надел шлем, не зная, как скоро они должны выйти из герметических помещений. Они спустились в подвалы на другом, грузовом, лифте. Там тоже был склад, заваленный контейнерами, похожими на артиллерийские зарядные ящики, – из них, как снаряды крупного калибра, торчало по пять кислородных баллонов. Обширный склад был так забит, что приходилось протискиваться между стенами ящиков, пестревших разноязыкими надписями. Грузы, пришедшие со всех земных континентов. Пилот довольно долго ждал Госсе, который пошел переодеться, и не сразу узнал его в тяжелом скафандре монтажника, вымазанном смазочным маслом, с ноктовизором, надвинутым на стекло шлема.

Через шлюз вышли наружу. Испод верхнего яруса нависал над ними – все здание напоминало огромный гриб со стеклянной шляпкой. Наверху, в зеленом свете мониторов, хлопотал Лондон. Обошли основание башни, круглое, без окон, как прибрежный маяк, отданный во власть прибою, и Госсе открыл ворота гаража из гофрированного железа. С шелестом зажглись лампы. В пустом помещении рядом с подъемником, у задней стены, стоял вездеход, похожий на давнишние луноходы американцев. Открытое шасси, сиденья с опорой для ног – ничего, кроме рамы на колесах, руля и закрытой батареи аккумуляторов позади. Госсе выехал на неровный щебень, устлавший подножие башни, и притормозил, чтобы пилот мог сесть. Они двинулись сквозь рыжий туман к едва различимому низкому неуклюжему строению с плоской крышей. Далеко за хребтами гор маячили столбы мутного света, похожие на лучи прожекторов противовоздушной обороны. Однако это не имело ничего общего с архаикой. Солнце дает Титану не много света, особенно в пасмурные дни, поэтому, когда была начата эксплуатация урановых рудников, на стационарную орбиту над Граалем были выведены огромные легкие зеркала-«солекторы», чтобы они сосредоточивали солнечный свет на территории разработок. Польза оказалась

сомнительной. Сатурн со своими лунами создает неразрешимую для расчетчиков задачу воздействия многих масс. И несмотря на все усилия астроинженерии, столбы света отклонялись, часто доходя до самого кратера Рембдена. Здешним отшельникам такие солнечные нашествия доставляли удовольствие – не только саркастическое, поскольку ночью вырванная из мрака воронка кратера являла свою грозную, захватывающую красоту. Госсе, объезжая препятствия – цилиндрические глыбы вроде бочек, которые затыкали небольшие вулканические выходы, – тоже заметил этот свет, холодный как северное сияние, и пробурчал себе под нос:

– Двигутся сюда. Прекрасно. Через несколько минут будет светло, как в театре. – И добавил с нескрываемой язвительностью: – Добрый малый этот Мерлин.

Ангус понял иронию, потому что освещение Рембдена означало непроглядную темень в Граале – значит, Мерлин или его диспетчер уже вытаскивает обслугу селекторов из коек, чтобы включили двигатели и направили космические зеркала куда следует. Но два луча все приближались, и в свете одного из них блеснул обледенелый гребень восточной стороны. Еще одной радостью обитателей Рембдена была удивительная для Титана прозрачность атмосферы в их кратере. Она позволяла неделями наблюдать на усыпанном звездами небосводе желтый, с плоскими кольцами, диск Сатурна, хотя расстояние здесь было в пять раз больше, чем между Луной и Землей. Восходящий Сатурн всегда ошеломлял новичков своей величиной. Невооруженным глазом можно было разглядеть разноцветные пятна на его поверхности и черные теневые кляксы, отбрасываемые ближними к планете лунами во время затмений. Это зрелище делал возможным северный ветер, который проносился в узостях между скалами с такой скоростью, что создавался феновый эффект. К тому же Рембден был самым теплым местом на Титане. Может быть, обслуживающий персонал селекторов еще не сумел с ними справиться, а может быть, из-за тревоги этим некому было заняться, только луч солнца уже перемещался по дну котлована. Сделалось светло как днем. Вездеход мог бы ехать без фар. Пилот видел серый бетон вокруг своего «Гелиоса». За этой площадкой, там, куда они направлялись, тянулись вверх, как окаменевшие стволы невероятных деревьев, вулканические пробки, выстреленные из сейсмических пробоин и застывшие миллионы лет назад. В перспективе они казались развалинами колоннады храма, а их бегущие тени – стрелками установленных рядами солнечных часов, показывающих чужое, мчащееся время. Вездеход миновал этот частокот. Он шел неровно, электромоторы тоненько постанывали, плоское здание еще было в полумраке, но за ним угадывались два вздымающихся черных силуэта – как бы готические

костелы. Действительные их размеры пилот оценил, когда вылез и вместе с Госсе направился к ним.

Таких колоссов он еще не видел. Ему не приходилось управлять Диглатором, в чем он, однако, не признавался. Если бы такую махину одеть в косматые шкуры, она превратилась бы в Кинг-Конга. Пропорции не были человеческие, скорее антропоидальные. Над мощными, как танки, застывшими в рыхлом грунте ступнями вертикально возносились ноги из решетчатых ферм. Башнеподобные бедра входили в тазовый круг, а на нем, как широкодонный корабль, высился стальной корпус. Кисти верхних конечностей он увидел, только задрал голову. Они свисали вдоль туловища, как безвольно опущенные крановые стрелы со стальными сжатыми кулаками. Оба колосса были без голов, а то, что издали он принял за башенки, на фоне неба оказалось антеннами, торчащими из плеч великанов.

За первым Диглатором, почти касаясь его панциря суставом согнутой в локте руки – как будто собирался дать ему тычка в бок и замер, – стоял другой, похожий на первого, как близнец. Он стоял немного дальше, и это позволяло разглядеть в его груди блестящее стекло окна. Кабину водителя.

– Это «Кастор», а это «Поллукс», – представил их Госсе.

Он направил на великанов ручной прожектор. Свет выхватывал из полумрака броню поножей, наколенники, торсы, отливавшие черным, как китовые туши.

– Хаарц, болван, не сумел даже ввести их в ангар, – сказал Госсе. Он ощупью искал на груди климатизационный переключатель. Дыхание легким туманом осело на стекле его шлема. – Еле сумел остановиться перед этим откосом...

Пилот догадался, почему этот Хаарц втиснул обоих колоссов в скальный пролом и почему предпочел их там оставить. Из-за инерции массы. Так же как морской корабль, машина тем тяжелее поддается водителю, чем больше ее масса. Он уже готов был спросить, сколько весит Диглатор, но, не желая обнаружить незнание, взял у Госсе фонарь и двинулся вдоль ступни великана. Водя лучом по стали, он, как и думал, обнаружил табличку с основными характеристиками, приклепанную на уровне человеческих глаз. Максимальная мощность достигала 14 000 кВт, допустимая перегрузка – до 19 000 кВт, масса покоя – 1680 тонн, многодисковый реактор «Токамак» с обменником Фуко; гидравлический привод

главной передачи и дифференциалов – «роллс-ройса», шасси шведского производства. Он направил луч света вверх, вдоль решетчатой ноги, но разглядеть целиком торс не мог. Свет едва обрисовал контуры черных безголовых плеч. Он повернулся к Госсю, но тот исчез. Наверное, пошел включить отопительную систему космодрома: размещенные на земле трубы стали разгонять низко стелющийся негустой туман. Заблудившийся луч селектора, как пьяный, бродил по котловине, вырывая из темноты то куб склада, то грибообразную контрольную башню с зеленой опояской собственного света, и, попадая на оледенелые скалы, давал мгновенно гаснущие отблески. Он будто пытался пробудить мертвый пейзаж, оживляя его движением. Вдруг ушел вбок, проехал по бетонному полю, перескочил через башню-гриб, частокол магматических стволов, одноэтажный склад и задел пилота, который, прикрывшись перчаткой, быстро закинул голову, чтобы при этой okazji увидеть Диглатор целиком. Покрытая черным антикоррозийным составом машина засияла над ним, как двуногий ящер, поднявшийся во весь рост, как бы позируя для съемки со вспышкой. Закаленные стальные пластины грудной клетки, дискообразное основание таза, столбы и приводные валы бедер, наколенники, решетки голеней первоначально блестели – значит, машина никогда раньше не работала. Ангус ощутил радость и тревогу. Он сглотнул слюну, чувствуя, как сжимается горло, и уже при отдаляющемся свете подошел к великану с тыла. Он приближался к пятке, и ее сходство со стальной человеческой ногой сначала стало карикатурным, но вблизи, около зарывшейся в грунт подошвы, исчезло. Он стоял как бы перед фундаментом порталного крана, который ничто не может вырвать из земли. Бронированный каблук мог бы служить основанием гидравлического пресса. Голеностопный сустав демонстрировал скрепляющие его болты диаметром в гребной вал корабля, а колено, выступающее на половине длины ноги – на высоте примерно трех этажей, – было как мельничный жернов. Кисти великана – они были больше экскаваторного ковша – неподвижно висели, застыв, как по стойке «смирно». Хотя Госсю исчез, пилот не собирался медлить. Он увидел в обшивке пятки ступени и скобы для рук и полез наверх. Вокруг сустава тянулся узкий выступ, от которого уже внутри решетчатой лодыжки уходила круто вверх лесенка. Лезть по ее перекладинам было не то чтобы трудно, но странно. Она привела его к люку, расположенному не слишком удобно – под правым бедром, поскольку его первичное, наиболее рациональное для конструкторов размещение служило источником неиссякаемых насмешек, невысокого, впрочем, пошиба. Проектанты первых ногоходов не обращали внимания на эти шуточки, но стали с ними считаться, когда выяснилось, что трудно найти желающих водить машины и постоянно подвергаться издевкам из-за места, через которое они попадали внутрь своих атлантов.

Когда открылся люк, включились ряды маленьких лампочек. По спиральной лесенке он дошел до кабины. Она представляла собой как бы огромную застекленную бочку или трубу, проходящую насквозь через грудь Диглатора, но не посередине, а слева, как будто инженерам хотелось поместить человека там, где у живого великана должно было быть сердце. Он окинул взглядом помещение, также освещенное, и с глубоким облегчением узнал знакомую систему управления. Он почувствовал себя как дома. Быстро снял шлем и скафандр, включил климатизацию, так как был одет только в трикотажный свитер и эластичные брюки, а чтобы управлять великаном, ему надо было вообще раздеться донага. Кабину наполняли потоки теплого воздуха, а он стоял у выпуклого лобового стекла и смотрел вдаль. Начинался день, хмурый, как обычно, – на Титане освещение всегда похоже на предгрозовое. Скальные осыпи далеко за космодромом были видны, как из окна высокого дома: он находился на уровне восьмого этажа. Даже на гриб контрольной башни он смотрел сверху. Вплоть до горных хребтов на горизонте только нос «Гелиоса» был выше, чем место, где он стоял. Сквозь боковые, тоже изогнутые, стекла он мог заглянуть в глубь мрачных стволов, слабо освещенных лампочками, заполненных механизмами, которые легонько вздыхали, размеренно шумя, словно пробужденные от сна или летаргии. В кабине не было никаких пультов, рулей, экранов – ничего, кроме одежды для водителя, валявшейся на полу и отливавшей металлом, как сброшенная змеиная кожа, и мозаики из черных кубиков, закрепленных на переднем стекле, похожих на детские игрушки, потому что на гранях этих кубиков виднелись контуры маленьких рук и ног – правых с правой, а левых с левой стороны. Когда колосс шел и все было в порядке, маленькие рисунки светились спокойным светло-зеленым светом. При неполадках цвет менялся на серо-зеленый, если повреждение было мелким, а в случае серьезных аварий становился пурпурным. Это было преображенное в черную мозаику, разбитое на фрагменты изображение всей машины. В теплом дыхании климатизатора молодой человек разделся, бросил одежду в угол и принялся натягивать костюм оператора. Эластичный материал обтянул его босые ступни, бедра, живот, плечи; сверкающий, по самую шею в электронной змеиной коже, он старательно, палец за пальцем, всунул руки в перчатки. Когда же он одним движением снизу вверх закрыл молнию, черная до той поры мозаика заиграла цветными огоньками. С одного взгляда он понял, что их расположение такое же, как в серийных морозоходах, которые он водил в Антарктиде, хотя по массе они не могли равняться с Диглатором. Он протянул руку к своду, подтянул к себе лямки, опоясался ими и крепко застегнул на груди. Когда замок защелкнулся, упряжь, легко пружиня, подняла его, так что он, подхваченный под мышки, как в корсете с мягкой прокладкой, повис и мог свободно двигать ногами. Проверив, движутся ли так же свободно руки, пилот

поискал сзади на шее главный выключатель, нашел рычажок и повернул его до упора. Все рисунки на кубиках стали вдвое светлее, и тут же он услышал, как глубоко под ним заработали вхолостую моторы всех конечностей; они тихонько причмокивали – из шатунов вытекала избыточная смазка, заложенная в подшипники еще на земной верфи для защиты от коррозии.

Внимательно глядя вниз, чтобы не задеть складского здания, он сделал первый, осторожный, небольшой шаг. В подкладку его одежды были вшиты тысячи гибких спиралек-электродов. Прильнув к голому телу, они черпали импульсы нервов и мускулов, чтобы передать их великану. Как каждому суставу человеческого скелета соответствовал в машине тысячекратно увеличенный, герметически закрытый сустав из металла, так отдельным группам мускулов, сгибающих и разгибающих конечности, соответствовали цилиндры размером с пушечный ствол, в которых ходили поршни под действием накачиваемого насосами масла. Но обо всем этом оператору не надо было ни знать, ни думать. Он должен был двигаться так, как будто шел по земле, топча ее ногами, или нагибался, чтобы вытянутой рукой взять нужный предмет. Только два различия были существенны. Во-первых, масштаб, потому что человеческий шаг превращался в двенадцатиметровый шаг машины. То же самое происходило с каждым движением. И хотя благодаря необыкновенной точности датчиков машина по воле водителя могла взять со стола полную рюмку и поднять ее на высоту двенадцатого этажа, не расплескав ни капли и не раздавив стеклянной ножки, зажатой тисками кисти, это было бы показателем особой артистичности оператора, демонстрацией его искусства. Колосс должен был поднимать не рюмки и камешки, а многотонные трубопроводы, перекрытия, валуны, а когда ему в тиски рук давали нужные инструменты, он превращался в буровую вышку, бульдозер, кран – всегда оставаясь богатырем, почти неисчерпаемые силы которого сочетались с человеческой ловкостью.

Большеходы стали воплощением концепции экзоскелета, который в качестве внешнего усилителя человеческого тела был известен по многим прототипам двадцатого столетия. Изобретение осталось на стадии разработки, поскольку на Земле для него не было применения. Эта идея возродилась при освоении Солнечной системы. Появились машины, приспособленные к планетам, на которых они должны были работать, к местным задачам и условиям. По массе эти машины различались, но инерция массы везде одинакова, и в этом крылось другое важнейшее различие между машинами и людьми.

Как прочность материала, так и движущая сила имеют свои пределы, они зависят от инерции массы, которая сохраняется даже вне сферы тяготения небесных тел. Большеходу нельзя делать резких движений – как нельзя мгновенно остановить в море крейсер или вращать стрелой подъемного крана, как пропеллером. Если бы водитель попробовал сделать что-то подобное с Диглатором, у того поломались бы фермы конечностей; чтобы избежать такого несчастного случая, инженеры снабдили все ответвления приводов предохранителями, не допускающими маневров, ведущих к катастрофе. Водитель, однако, мог отключить любой из этих ограничителей или все сразу, если бы оказался в трудной ситуации. Ценой поломки машины он, может быть, сумел бы выбраться живым из-под рухнувшей скалы или выйти из другого затруднительного положения. А если бы даже и это его не спасало, то как крайний шанс у него оставалось *ultimum refugium* [1 - последнее прибежище (лат.)], витрификатор. Человек был защищен внешним панцирем большехода, внутренней капсулой кабины, а в ней над водителем находился вход витрификатора, похожий на колокол. Устройство могло заморозить человека мгновенно. Правда, медицина пока еще не была способна вернуть к жизни верифицированные человеческие тела: жертвы катастроф, сохраняемые в контейнерах с жидким азотом, лежали в ожидании будущих успехов искусства возвращения к жизни.

Эта отсрочка врачебной помощи на неопределенный срок казалась многим людям чудовищным предательством, обещанием спасения, лишенным какой бы то ни было гарантии исполнения. Хотя в медицине это был крайний и граничный случай, он не был первым. Ведь первые трансплантации обезьяньих сердец смертельно больным людям вызвали подобные реакции ужаса и негодования. Кроме того, при опросе водителей было выяснено, насколько скромны их надежды на верификационную аппаратуру. Их профессия была нова, таящаяся же в ней смерть – стара, как все людские начинания. И Ангус Парвис, тяжелыми шагами ступая по Титану, вовсе не думал о висящем над его головой устройстве с кнопкой, светящейся внутри прозрачного колпачка, как рубин. С особой осторожностью он вывел машину на бетонные плиты космодрома, чтобы там опробовать Диглатор. Сейчас же у него возникло давно знакомое чувство, будто он одновременно легок и тяжел, свободен и скован, медлителен и быстр, – это можно было сравнить только с ощущениями ныряльщика, которого лишает тяжести тела сопротивление воды, но чем быстрее он хочет двигаться, тем большее сопротивление оказывает жидкая среда. Опытные образцы планетных машин после нескольких часов работы разваливались, потому что у них еще не было ограничителей движения.

У новичка, сделавшего на большеходе несколько шагов, создается впечатление, что это необычайно легко, и поэтому, намереваясь выполнить простейшую работу – например, положить перекрытия на стены строящегося дома, – он сокрушит стену и погнет железо, прежде чем поймет, в чем дело. Даже оснащенная предохранителями машина может подвести неопытного водителя. Прочитать цифры предельных нагрузок так же легко, как, например, проштудировать самоучитель горнолыжника, но от такого чтения еще никто не стал мастером по слалому. Ангус, хорошо знакомый с тысячниками, почувствовал, прибавив шагу, что послушный ему гигант весит почти вдвое больше. Вися в остекленной кабине наподобие паука в центре его удивительных сетей, он сейчас же замедлил движения ног и даже остановился, чтобы с нарочитой медлительностью приняться за гимнастику на месте. Он переступал с ноги на ногу, делал наклоны вбок и только потом несколько раз обошел вокруг своей ракеты.

Сердце билось сильнее обычного, но все шло без ошибок. Ему были видны бесплодная, бурая долина, застланная туманом, далекие ряды огней, означавшие границы космодрома, и маленькая, не больше муравья, фигура Госсе рядом с контрольной башней. Кругом слышался мягкий, неназойливый шум, в котором его ухо, с каждой минутой лучше разбиравшее звуки, узнавало басовый фон главных моторов, то разгоняющихся до тихого пения, то урчащих как бы с мягким упреком, когда резко замедлялась поступь стотонных ног. Он различал хоральный зов гидравлики – масло по тысяче маслопроводов поступало в цилиндры, чтобы поршни мерно поднимали, сгибали и ставили на бетон конечность, обутую в целый танк. Он улавливал тонкое пение гироскопов автоматики, помогающей ему удерживать равновесие. Когда он намеренно собрался повернуться порезче, масса, в которой он был заключен, оказалась недостаточно маневренной для мощности моторов, и, хотя они послушно тянули изо всей силы, гигант зашатался, но не вышел из-под контроля, ибо сам мгновенно смягчил поворот, увеличив его радиус.

Затем он стал развлекаться, поднимая многотонные валуны за пределами бетонированной площадки; от этих глыб, когда их захватывали клешни, летели искры. И часу не прошло, а он уже был уверен в Диглаторе. Вернулось знакомое состояние, которое опытные люди называют «врастанием человека в большеход». Стирались границы между ним и машиной, ее движения становились его собственными. Под конец тренировки он взобрался, и довольно высоко, на каменистый склон; он уже настолько освоился, что по грохоту раздавленных камней, валящихся из-под ног, понимал, чего можно потребовать от колосса, которого он уже успел полюбить. И лишь когда он спустился к

мглисто светящимся контурам посадочной площадки, сквозь чувство удовлетворения иглой прошла мысль о предстоящем походе, осознание того, что Пиркс и двое других, заключенные внутри таких же колоссов, не только застряли – исчезли в гигантской впадине Титана. Сам не зная зачем – то ли упражняясь, то ли на прощание, он вплотную обошел корабль, на котором прилетел сюда, и коротко переговорил с Госсе. Начальник стоял рядом с Лондоном за стеклами башни. Ангус видел их и, узнав, что о судьбе пропавших все еще ничего не известно, на прощание высоко поднял закованную в железо правую руку. Жест этот мог показаться излишне патетичным или даже шутовским. На его же взгляд, это было лучше всяких слов. Ритмично шагая, он развернулся, вывел на единственный в кабине монитор голографический снимок территории, по которой предстояло идти, включил указатель азимута вместе с проекцией дороги к Граалю и двенадцатиметровыми шагами пустился в путь.

Для планет, близких к Солнцу, характерны два вида пейзажей: в одних можно обнаружить целенаправленность, в других – запустение. Целенаправленность видна в любом пейзаже Земли, планеты, породившей жизнь; на ней все имеет свой смысл. Наверное, так было не всегда, но миллиарды лет целенаправленного труда не прошли зря: разноцветные растения приманивают насекомых, тучи проливаются дождем на леса и пастбища. Любая форма или вещь объясняются там чьей-то пользой, а то, что явно не дает пользы – как льды Антарктиды или горные цепи, – есть исключение из правил, дикая, хотя, быть может, прекрасная никчемность, но и это не наверняка, поскольку человек, поворачивая течения рек, чтобы дать жизнь засушливым землям, или обогревая полюсы, платил за улучшение одних территорий превращением в пустыни других, тем самым нарушая климатическое равновесие биосферы, отрегулированное тяжким эволюционным трудом жизни, который только кажется бесцельным. Темнота океанских глубин не служила подводным жителям укрытием от нападения, которое они по мере надобности могли освещать своими люминесцирующими органами, – наоборот: сама эта тьма вызвала к жизни именно такие, приспособленные к давлению, светящиеся и плавающие создания. На планетах, изобилующих жизнью, эта творческая сила мертвой природы робко поднимает свой голос только в подземельях, пещерах и гротах. Там, не будучи вовлечена ни в какие процессы приспособления, не обтесанная своими созданиями в их борьбе за существование, она с многотысячелетней сосредоточенностью, с бесконечным терпением творит из застывающих капель солевых растворов фантазмагорические леса сталактитов и сталагмитов. На таких планетах это лишь отклонение от общих планетных работ, оно придавлено пещерными сводами и хотя бы потому не может обнаружить своего размаха. Создается впечатление, что подобные места – не

обыденность для природы, а инкубатор для ее побочных детей, монстров, рождающихся вопреки законам хаоса.

На высохших же планетах, таких как Марс или Меркурий, – окруженных всепронизывающим солнечным ветром, этим разреженным дыханием, неустанно веющим от звезды-родительницы, – там поверхность пустынна и мертва, поскольку все возникающие формы поглотил пламенный жар, чтобы обратить их в пепел, наполняющий чаши кратеров. И лишь там, где царит смерть, вечная, спокойная, где не действуют ни сита, ни жернова естественного отбора, формирующие любое создание по законам бытия, открывается простор для удивительных произведений материи, которая, ничему не подражая, никому не подчиняясь, выходит за границы человеческого воображения. Именно поэтому фантастические пейзажи Титана так ошеломили его первопроходцев. Люди всегда отождествляли порядок с жизнью, а хаос – со скукой мертвенности. Нужно было добраться до внешних планет, до Титана, самой большой из их лун, чтобы понять всю фальшь этого категорического диагноза. Чудовищные чудеса Титана – не важно, безопасные или предательские, – если смотреть на них издали и с высоты, кажутся просто хаотическими нагромождениями. Однако все меняется, если ступить на грунт этой луны. Страшный холод этого пространства, в котором Солнце еще светит, но уже не греет, оказался не препятствием, а стимулом материального созидания. Правда, мороз замедлил созидание, но тем самым дал ему возможность развернуться, предоставил то, что природе, не затронутой жизнью и не пронизанной солнцем, необходимо как предпосылка творчества, направленного в вечность, время, в котором один или два миллиона веков не имеют никакого значения.

Природным материалом здесь служат в принципе, те же химические элементы, что и на Земле, но там они попали, если можно так сказать, в рабство к биологической эволюции, оставались в ее пределах – но и тогда поражали человека изысканностью сложнейших соединений, образующих организмы и их обусловленную жизнью видовую иерархию. Поэтому и считалось, что высокая степень сложности присуща не всякой материи, а только живой, поскольку неорганический хаос не может произвести ничего, кроме слепых вулканических судорог, изрыгающих потоки лавы и дожди серного пепла.

Кратер Рембдена когда-то треснул в северо-восточной части кольца. Потом в эту расщелину вполз ледник замерзшего газа. Еще через миллионы лет он отступил, оставив на перепаханной поверхности минеральные отложения, – к восторгу и заботе кристаллографов и не менее потрясенных ученых других

специальностей. Действительно, было на что поглядеть. Пилот – сейчас он был водителем большехода – видел перед собой пологую равнину, лежащую среди отдаленных склонов гор и устланную... собственно, чем? Над ней, казалось, распахнулись ворота неземных музеев и собраний камней, и оттуда высыпались каскадами костяки, остовы, обломки чудовищ – а может быть, их невоплощенные, безумные проекты, один фантастичнее другого, – расколотые фрагменты существ, которым лишь случайно не пришлось участвовать в коловращении жизни. Он видел гигантские ребра – а может быть, скелеты пауков, обхвативших голенастыми лапами обрызганные кровью раздутые яйца; видел челюсти, вонзившие одна в другую хрустальные клыки, тарельчатые позвоночные столбы, будто рассыпанные после гибели допотопных пресмыкающихся. Эту дьявольщину во всем ее богатстве лучше всего было рассматривать с высоты Диглатора. Жители Рембдена называли его окрестности кладбищем – и действительно, этот пейзаж казался полем многовекового побоища, кладбищем разросшихся сверх меры и затем рассыпавшихся скелетов. Ангус замечал среди них гладкие поверхности суставов, которые могли бы торчать из трупов гороподобных чудовищ; там даже виднелись окровавленные волокна – места прикрепления мускулов, и рядом с ними – разложившиеся кожные покровы с радужной шерстью, которую мягко развевал и укладывал в волны ветер. Сквозь туман вдалеке маячило многоэтажное скопище членистоногих, слитых воедино в момент гибели. От граненых блестящих камней отходили столь же сияющие рога, а кругом в беспорядке валялись кости и черепа грязно-белого цвета. Он смотрел на все это и сознавал, что роящиеся в его голове образы, их мрачный смысл – всего лишь обман зрения, пораженного чуждым миром. Если бы он постарался, то, наверное, припомнил бы, какие соединения на протяжении миллиардов лет принимали эти формы. Некоторые из них, покрытые пятнами гематитов, прикидывались окровавленной костью, а другие, превосходя скромные достижения земных асбестов, создавали переливающийся всеми цветами радуги тончайший пушистый мех. Но самые точные результаты тщательных анализов ничего не стоили рядом со зрительными впечатлениями. Именно потому, что здесь ничто ничему никогда не служило, что здесь не действовал нож эволюционной гильотины, отсекающий у каждого дичка то, что не поддерживает существования и ничему не служит, именно потому, что природа, не сдерживаемая ни жизнью, порожденной ею самой, ни ею же приносимой смертью, могла обрести здесь свободу и обнаружила присущую ей расточительность, бесконечное мотовство, роскошь, извечную силу созидания без нужды, без цели, без смысла, – эта истина, понемногу постигаемая смотрящим, оказывалась еще более неистовым потрясением, чем впечатление, что он смотрит на космический паноптикум трухлявой мимикрии, что здесь и в самом деле под грозовым небосклоном

распростерты останки неизвестных существ. Нужно было в некотором роде перевернуть вверх ногами врожденное и односторонне направленное мышление: эти формы похожи на кости, ребра, черепа и клыки не потому, что когда-то служили жизни – они не служили ей никогда, – но скелеты земных позвоночных и их шерсть, и хитиновые панцири насекомых, и двустворчатые ракушки моллюсков имеют такую архитектуру, симметрию, изящество лишь потому, что природа умеет создать все это и там, где ни жизни, ни присущей ей целенаправленности никогда не было и не будет.

Погрузившись в транс философских размышлений, молодой пилот даже вздрогнул, вспомнив, как он сюда попал, где находится и какова его задача. А железная машина послушно и без промедления в тысячу раз усилила его переживания и дрожь, воем трансмиссий и содроганием всей своей массы отрезвив его и повергнув в смущение. Придя в себя, он зашагал дальше. Сначала он нерешительно опускал ноги, тяжелые как паровые молоты, на псевдоскелеты, но попытки лавировать оказались затруднительными и безуспешными. Теперь он колебался лишь иногда, встречая на пути особенно внушительное нагромождение, обходил его лишь тогда, когда пробираться сквозь завалы или разбивать их было бы обременительно даже для его послушного великана. Кроме того, ощущение, будто он идет по бесчисленным костям, давит черепа, перепонки крыльев, рога, отвалившиеся от лобной кости, скулы, вблизи уменьшалось, почти исчезало, но пилоту временами казалось, что он идет по остаткам каких-то органических машин – гибридов, полуживотных, произошедших от скрещивания живого с мертвым, смысла с бессмыслицей; временами – что он иридиевыми подошвами топчет не по-земному разросшиеся драгоценности, благородные и подпорченные, тут и там покрытые бельмами взаимодействия и метаморфизации. А поскольку он со своей высоты должен был следить, куда и под каким углом ставит башнеподобную ногу, поскольку этот начальный переход – вынужденно медлительный – длился больше часа, его разобрал смех, когда он подумал, какие усилия приходится прилагать земным художникам, чтобы выйти за пределы человеческого воображения, придающего смысл всему на свете, как эти бедняги толкутся в стенах собственной фантазии и как недалеко уходят от банальностей, даже полностью исчерпавшись, тогда как здесь на одном акре поверхности громоздится больше оригинальности, чем на сотне выставок, порожденных добросовестными самоистязаниями. Но нет таких раздражителей, к которым человек не привык бы довольно быстро, и вот он уже пружинисто шел по кладбищам халькоцитов, шпинелей, аметистов, плагиоклазов – или скорее их дальних неземных родичей, – шел, как по обычной осыпи, переламывая в долю секунды ветку, выкристаллизовавшуюся неповторимым образом за миллионы лет, и не намеренно, а по необходимости

обращая ее в стеклянистую пыль; иногда, заметив экземпляр красивее других, он ощущал жалость, но они так громоздились друг на друга, так гасили друг друга этим неисчислимым избытком, что его занимало только одно. А именно: как сильно здешний край – не для него одного! – связан со сном, с царством призраков и безумием шокирующей красоты. Слова о том, что это мир, где природа видит сны, воплощая свой великолепный ужас, свои замысловатые кошмары в твердом монолите материальных форм, как бы напрямую – минуя всякого рода психику, – сами просились на язык, ибо так же, как во сне, все увиденное казалось ему одновременно и совершенно чужим, и абсолютно своим, что-то напоминало и в следующий миг неизменно ускользало из этих воспоминаний, все время представлялось некой чепухой, маскирующей какой-то тонкий намек на коварный замысел, – поскольку здесь все с незапамятных времен как бы только начиналось с поразительной направленностью, но никак не могло завершиться, осуществиться в полном объеме, решиться на финал – на то, что ему предназначено.

Так он думал, ошеломленный и обстановкой, и своими рассуждениями, поскольку философские размышления были ему непривычны. За спиной осталось взошедшее солнце, и теперь перед ним лежала собственная его тень, и было странно замечать в движениях этой угловатой, уходящей далеко вперед тени машинную и одновременно свою собственную, человеческую, природу – это был силуэт безголового, колыхающегося, как корабль на плаву, робота, которому в то же время присущи были его собственные движения – гипертрофированные, как бы нарочитые. Правда, он не в первый раз это видел, но почти двухчасовое вышагивание по урочищу окрылило – или утончило – его воображение. И он не жалел, что, свернув за Рембденом сильнее на запад, утратил радиосвязь с его обитателями. Выйти из радиотени предстояло на тридцатой миле – уже скоро, – но сейчас он предпочитал быть один, вдали от стереотипных вопросов и ответов-рапортов.

На горизонте появились темные силуэты; с первого взгляда не было понятно, тучи это или горы. Ангус Парвис, который шел к Граалю и при всем разыгравшемся воображении не связал своей фамилии с Парсифалем – ибо труднее всего выйти за пределы однажды осознанного тождества с самим собой, как бы вылезти из собственной кожи, да еще влезть в миф, – уже отвлекся от окружающего, отвлекся тем более легко, что декорация мнимой смерти, планетного *theatrum anatomicum* минералов, понемногу исчезала. Он с непритворным равнодушием скользил глазами по искрящимся камням, как будто ожидающим его взгляда. Приняв решение, запретил себе думать о том, из-за чего оно было принято. Ему это было несложно. Астронавты умеют подолгу быть

наедине с собой. Он шагал в раскачивающемся Диглаторе – при ходьбе великан, естественно, наклонялся из стороны в сторону. Шагомер показывал почти тридцать миль в час. Кошмарные призраки змеиных и птичьих плясок смерти сменились плавными скальными складками, покрытыми вулканическим туфом. Он был легче и мельче песка. Ангус мог прибавить шагу, но знал, что ощущения, которые испытываешь на полном ходу, трудно выносить долго, а его ждал многочасовой марш к впадине по еще более сложной территории. Зубчатые контуры на горизонте уже не были похожи на тучи. Он шел к ним, а тень плыла впереди – она казалась укороченной, потому что из-за огромной массы большехода его ноги составляли всего треть длины туловища; если было нужно увеличить скорость, удлинить шаг, приходилось заносить ногу, поворачивая вперед шарнир бедра, что было возможно, поскольку кольцевое навершие ног, точнее, шасси, соответствующее бедрам, представляло собой огромный поворотный круг, в котором крепилось туловище. Но тогда к боковым наклонам прибавляется раскачка всего великана вверх-вниз, и пейзаж шатается перед глазами водителя, как пьяный. Для бега такие тяжелые машины не годятся. На Титане для них проблематичен и прыжок с двухметровой высоты. На меньших планетах и на Луне их свобода передвижений больше. К тому же при конструировании не заботились особенно о быстроте этих машин, они строились не как средство передвижения, а предназначались для тяжелых работ, способность же шагать – дополнительное качество, увеличивающее самостоятельность усердного колосса.

Наверное, уже час Ангусу то казалось, что он вот-вот застрянет в хаосе скал, то, наоборот, что азимут рассчитан гениально, потому что, когда он приближался к очередному обвалу, к каменным глыбам, лежащим так непрочно, что порыв ветра мог бы, наверное, вызвать лавину, всегда в последний момент находился удобный проход, и ему не надо было ни лавировать, ни поворачивать назад от тупика. Правда, ему довольно скоро пришло в голову, что лучшим водителем на Титане оказался бы косой, поскольку нужно было одновременно присматриваться с высоты к поверхности перед машиной и глядеть на светящийся указатель направления, дрожащий, как игла обычного компаса, на фоне полупрозрачной карты. Однако это ему удавалось совсем даже неплохо, и он доверился глазам и прибору. Отделенный от мира шумом силовых агрегатов и резонансными колебаниями, в которые вводили весь корпус тяжелые шаги, он видел Титан сквозь поляризованные окна своего стеклянного помещения. Куда бы Ангус ни повернул голову – а он делал это движение, попадая на более ровные участки пути, – ему были видны горные хребты над морями туманов, кое-где разорванные силуэтами вулканов, загложших столетия назад. Шагая по ноздреватой поверхности, он видел глубоко внизу тени вулканических бомб и

непонятные темные очертания не то морских звезд, не то головоногих, застывших, как насекомые в янтаре.

Затем местность изменилась: она тоже была пугающей, но по-другому. Казалось, планета пережила период бомбардировок и извержений, добравшихся до самых небес слепыми взбросами лавы и базальта, чтобы замереть в дикой и отрешенной неподвижности. Он уже входил в эти вулканические ущелья. Стены вдалеке нависали каким-то невероятным образом. Что ж, все это не находило выражения на языке существ, сформировавшихся на более идиллической планете, но придавало динамичность мертвому оцепенению сейсмических выбросов, размах которых был обусловлен тяготением, не большим, чем на Марсе. Затерянному в этом лабиринте человеку перестала казаться огромной его шагающая машина. Она терялась, просто исчезала рядом с каскадами лавы. Их километровые огнепады когда-то сковал космический холод, и они застыли, низвергаясь в пропасть, превратились в гигантские вертикальные сосульки, в чудовищную колоннаду. Этот пейзаж превращал большеход в микроскопическое насекомое, ползущее вдоль постройки, которую с величественной небрежностью возвели, а потом забросили истинные великаны планеты. Если бы сироп стекал с какой-нибудь поверхности и застывал сталактитовыми сосульками, то именно так из щели пола взирал бы на него муравей. Однако соотношения масштабов были еще более разительны. В этой дикости, в этой гармонии хаоса, чуждой глазу человека, не похожей ни на какие земные горы, был виден жестокий облик пустоты, исторгнутой из глубин планеты, из жара, и застывшей под чужим солнцем в камень. Под чужим, ибо Солнце было здесь не пылающим диском, как на Луне или на Земле, а холодно горящей шляпкой гвоздя, вбитого в рыжий небосклон, дающей немного света и еще меньше тепла. Снаружи было минус 90 градусов – лето в этом году выдалось необычайно мягкое. Сквозь устье ущелья Ангус увидел небо в зареве, оно поднималось все выше, пока не охватило четверть небосвода, и он не сразу понял, что это – не заря и не свет солектора, а извечный властитель Титана – окруженный кольцами, желтый как мед Сатурн.

Резкий наклон, колыхание кабины, внезапный вой моторов – положение и работа машины нормализовались скорее благодаря реакции гироскопов, чем маневрам Ангуса, и это заставило его понять, что сейчас не время для размышлений астрономического или философского характера. Он смущенно опустил глаза. Странно, как раз в этот момент он осознал комизм своих движений. Вися в упряжи, перебирал ногами в воздухе, но ощущал каждый громовой шаг, хотя вроде бы раскачивался, как играющий ребенок. Ущелье становилось все круче. Хотя Парвис укоротил шаг, машинное отделение наполнилось напряженным воем турбин. Он оказался в глубокой тени и, прежде чем зажег прожекторы,

чуть не столкнулся с выступом скалы, по размерам превосходившим Диглатор. Масса машины, повинувшись первому закону Ньютона, стремилась двигаться по прямой, и от резкого изменения направления моторы получили крайнюю перегрузку. Все индикаторы – до тех пор спокойного зеленого цвета – налились пурпуром. Турбины отчаянно завывали, работая на полную мощность. Указатель оборотов главного гироскопа замигал, показывая, что предохранитель вот-вот перегорит, и кабина накренилась, как будто Диглатор падал. Ангуса залил холодный пот, стало страшно, что он так по-идиотски расколотит доверенную ему машину. Но только щиток левого локтя столкнулся со скалой, заскрежетав, как корабль, налетевший на риф; из-под стали брызнули снопы искр, высеченных ударом, повалили клубы дыма, и большеход, содрогаясь, вернул себе равновесие.

Пилот пришел в себя. Он был доволен, что в ущелье потерял связь с Госсе, поскольку автоматический передатчик показал бы на мониторе его приключение. Он вышел из тени и удвоил внимание. Ему было стыдно: сплеховал в такой простой ситуации, старой как мир. Любой машинист знает по опыту, инстинктивно чувствует, какие это разные вещи – сдвинуть с места один паровоз или двинуться, когда к паровозу прицеплена череда вагонов. И он пошел дальше, как на смотру, и колосс снова был удивительно послушен. Он видел сквозь стекла, как легкое движение его руки становится взмахом ручищи – огромных тисков, – а когда он делает шаг, башнеобразная нога, двигаясь вперед, поблескивает щитком наколенника.

От космодрома он уже удалился на пятьдесят восемь миль. По карте, по спутниковым фотографиям, которые он изучал накануне вечером, наконец, по диораме территории, выполненной в масштабе 1:800, он знал, что дорога до Грааля делится на три основные части. Первая включала в себя так называемое кладбище и вулканическое ущелье, которое он только что прошел. Другую он уже различал – это был пролом в массиве застывшей лавы, пробитый серией термоядерных взрывов. Не было другой возможности покорить этот массив, результат самого мощного извержения орландского вулкана, – склоны его были неприступны. Ядерные взрывы вгрызлись в вулканические горные образования, преграждающие путь, и рассекли их надвое, как горячий нож – кусок масла. На титанограмме кабины этот проход был обрамлен восклицательными знаками, напоминающими, что здесь ни при каких обстоятельствах нельзя покидать машину. Остаточная радиация, созданная взрывами, все еще была опасной для человека, не защищенного панцирем большехода. Ущелье отделяла от прохода

равнина протяженностью в милю, черная, как будто покрытая сажой. Там он снова смог услышать Госсе. Он промолчал о столкновении со скалой, а Госсе сообщил ему, что за проходом, у Большого Пика, на половине пути, радиоопеку над ним возьмет Грааль. Там начиналась третья, последняя часть пути через впадину.

Черная пыль, выстилавшая равнину между двумя горными грядами, покрыла ноги Диглатора выше колен. Он быстро и ловко шел в ее стелющихся клубах к почти отвесным стенам прохода, пробираясь сквозь завалы, оплавленные жаром взрыва. Обломки, твердые как алмаз, под иридиевыми подошвами Диглатора трескались со звуком, подобным стрельбе. Дно прохода было гладкое как стол. Ангус шел между обожженными стенами под громовые отзвуки шагов, которые он ощущал как свои собственные: он сросся с машиной, она сделалась его разросшимся телом. Внезапно он попал в темные, непроницаемые глубины и был вынужден включить прожекторы. Их ртутный блеск смешивался в сгустке теней, клубившихся между стенами скальной горловины, с холодным, рыжим, неприветливым светом неба, яснеющим в устье прохода; по мере приближения оно становилось все больше. На последнем участке ущелье сужалось, словно не желая пропускать большеход, как будто его угловатые плечи должны были застрять в узости, похожей на трубу, но это был обман зрения: по обе стороны еще оставалось по несколько метров. Другое дело, что пришлось сбавить скорость, потому что чем быстрее шел «Поллукс», тем сильнее он раскачивался из стороны в сторону, и с этим ничего нельзя было поделать. Раскачка при ускорении хода обусловлена законами динамики масс, и инженерам не вполне удалось уравновесить создающиеся при этом моменты инерции. Последние триста метров Ангус шел круто под гору, осторожно ставя ступни и слегка наклоняясь к стеклу, чтобы как следует видеть, куда опустить ногу-башню. Это занятие поглощало все внимание, и только когда свет залил его со всех сторон, наполнил кабину, он поднял голову и увидел совершенно другой неземной пейзаж.

Большой Пик возвышался над бело-рыжим океаном волнистых облаков – черный, стройный, одинокий на фоне неба. Парвис понял, почему некоторые называют пик Божьим Перстом. Он постепенно замедлил шаг и, остановившись на этой смотровой площадке, попытался сквозь приглушенное пение турбин поймать голос Грааля. Не услышав ничего, попробовал вызвать Госсе, но и оттуда не было отзыва. Он все еще находился в мертвой зоне. И тут произошла странная вещь. Только что контакт с космодромом был чем-то неприятен, в чем-то ему мешал, – может быть, потому, что даже не в словах, в голосе Госсе он ощущал скрытое беспокойство или, может быть, сомнение: справится ли он; и в таком

сомнении было нечто покровительственное, а этого он просто не выносил. И вот сейчас, когда он остался действительно один, когда ни человеческий голос, ни автоматический пульс радиомаяка Грааля не могли поддержать его в этой бесконечной белой пустыне, вместо свободы и облегчения он ощутил неуверенность – подобно человеку, который попал во дворец, полный чудес, и не имеет ни малейшей охоты покинуть его, но вдруг видит, что ворота, до сих пор радушно открытые, сами за ним закрываются. Он выговорил себе за это бесплодное ощущение, похожее на страх, и начал спускаться к поверхности облачного моря по довольно покатою и местами обледенелому склону прямо к Большому Пику – черному, достающему до неба и странно согнутому, словно палец, манящий его к себе.

Раз-другой подошва большехода соскользнула с тупым скрежетом, осыпая вниз громады камней, вырванных из ледяных оков, но это не грозило падением. Он только ставил ноги так, чтобы ступни врезались шипами пятки в скорлупу наста, и поэтому двигался медленнее, чем раньше. Спускался по крутому склону между двумя расселинами, упорно и нарочито топая, так что фонтаны ледяных брызг отлетали от его наколенников и поножей, всматривался в глубь долины, дно которой просвечивало сквозь проплешины туманов, и чем ниже он сходил, тем выше вздымался над ним из-за далеких молочно-белых туч черный палец Большого Пика. Так он дошел до полосы пушистых облаков, плывущих ровно и медленно, как по невидимой воде; они доходили ему уже до бедер, до поворотного круга бедер, одно облако накрыло его вместе с кабиной, но исчезло, словно кто-то его сдул. Еще несколько минут черный палец маячил над пушистой бездной – как скальная палица над арктическим океаном, стоящая неподвижно среди пены и льдин, – потом исчез, словно Парвис был ныряльщиком, спустившимся на морское дно. Он остановился, потому что услышал прерывистый, слабый, пискливый стон. Поворачивая Диглатор то влево, то вправо, он подождал, пока это пение, совершенно отчетливое, не зазвучало в обоих ушах одинаково громко. Слышен был не сам Грааль, а радиомаяк Большого Пика. Надо было идти прямо к маяку, причем если бы водитель сбился с дороги, прерывистый сигнал изменился бы – в зависимости от отклонения: если забрать вправо, в сторону губительной впадины, в правом ухе у него раздастся предостерегающий визг, а если отклониться в другую сторону, к сплошным непроходимым стенам, сигнал отзовется басом – не таким тревожным, но тоже указывающим на ошибку. Шагомер показал сотую милю. Основная, технически самая трудная часть пути осталась позади. Меньшая, более коварная, лежала перед ним в туманной бездне. Литые тучи теперь темнели высоко, видимость доходила до нескольких сот метров, анероид свидетельствовал, что здесь расположена котловина впадины, точнее, ее

надежная твердая кромка. Он шел, полагаясь одновременно на слух и на зрение, потому что кругом было светло от снега – замерзшей двуокиси углерода и оснований других застывших газов. Местами из-под белого покрова торчали эрратические валуны – следы ледника, который некогда вторгся с севера в распадок вулканического массива, своим телом углубил его южную часть, перепахал, окружил донным льдом скальные обломки и потом, отступая или растапливаясь от магматического нагрева, идущего из глубин Титана, изверг из себя и оставил при беспорядочном отходе морену. Пейзаж изменился: внизу как будто простирался зимний день, а сверху его накрывали темные ночные тучи. Ангуса теперь не сопровождала даже его тень. Он ступал уверенно, погружая в снег опушенные кристалликами стальные башмаки, а в панорамных зеркалах, обращенных назад, мог видеть собственные следы, достойные тираннозавра, самого большого из двуногих хищников мезозоя, и по этим следам проверял, достаточно ли прямо идет. С недавнего времени ему стала мерещиться странная вещь, поверить в которую было невозможно: все настойчивее казалось, что он не один в кабине, что за спиной находится другой человек; его присутствие он ощущал по дыханию. Его настолько захватила эта иллюзия – а он не сомневался, что это иллюзия, вызванная, быть может, переутомлением слуха, притупившегося от монотонности радиосигналов, – что он задержал дыхание. И тогда кто-то явственно протяжно вздохнул. Об иллюзии, кажется, нечего было думать. Ангус обмер, споткнулся, его великан зашатался. Он резко выправил машину, так что указатели засветились, а турбины взвыли, затормозил, пошел медленнее, остановился.

Тот перестал дышать. Значит, это было эхо машинных колодцев Диглатора? Не двигаясь с места, он обвел взглядом пространство, и на бескрайних снеговых покровах увидел черную черточку, восклицательный знак, нарисованный тушью на белизне горизонта, там, где нельзя было различить сугробы и облака. И хотя он никогда не видел большеход в подобных зимних декорациях и с расстояния в милю, его охватила уверенность, что это Пиркс. Ангус двинулся к нему, не обращая внимания на нарастающее раздвоение сигнала в наушниках. Прибавил шагу. Черный значок, семенивший у белой стены, превратился уже в фигурку, она суетилась, потому что он сам быстро двигался. Минут через двадцать стали определяться истинные размеры. Их разделяло полмили, может быть, чуть больше. Почему Ангус не подал голоса, не вызвал того по радио? Сам не знал почему, но не смел. Он всматривался до рези в глазах и различал уже за стеклянным окошком в сердце колосса маленького человечка, который шевелился, как паук, на нитках. Ангус шел за ним, и оба оставляли за собой длинные пылевые шлейфы, подобно кораблям, за которыми тянутся вспененные борозды кильватера. Ангус догонял его, в то же время вглядываясь в то, что

происходило впереди: вдали переливалась белизной, клубилась метель, просветы в ней блистали ослепительней снега. Это была полоса холодных гейзеров. Тогда он окликнул преследуемого раз, другой, третий, а так как тот вместо ответа прибавил шагу, как бы стремясь скрыться от своего спасителя, последовал его примеру, усиливающимися наклонами корпуса и взмахами мощных рук подгоняя великана к краю гибели. Стрелка шагомера дрожала у красной черты – 48 миль в час. Ангус звал беглеца хриплым от возбуждения голосом, но тут черная фигура раздалась вширь и вытянулась, ее контуры утратили резкость, и он уже не видел человека в Диглаторе – оставалась только тень, расплывавшаяся в бесформенное пятно, пока все не исчезло. Он был один и пытался догнать себя самого – феномен довольно редкий, но известный и на Земле; например, брокенский призрак. Увеличенное собственное отражение на фоне светлых облаков. Не он – его тело, пораженное открытием, в приступе жестокого разочарования, в напряжении всех мускулов, в одышке, в горьком бешенстве и отчаянии хотело остановиться как вкопанное, сразу, не медля, – и тогда в глубинах колосса раздалось рычание и его бросило вперед. Датчики залило красным, как вскрытые вены – кровью. Диглатор задрожал, словно корабль, налетевший на подводную скалу, корпус подался вперед и, если бы Ангус не вывел его из наклона, сделав несколько замедляющихся шагов, обязательно бы рухнул. Хоровой протест внезапно перегруженных агрегатов утих, а он, чувствуя, как по разгоряченному лицу текут слезы разочарования и гнева, стоял на расставленных ногах, дыша так, будто сам с огромным усилием пробежал последние километры. Несколько остыл и, вытирая краем перчатки пот с бровей, увидел, как огромная лапа большехода, придав соответствующий размах этому рефлекторному жесту, поднимается, заслоняет окно кабины и с грохотом врезается в излучатель, укрепленный на безголовых плечах. Он забыл отключить руку от усилительного контура! Этот очередной идиотский поступок окончательно привел его в себя. Он повернул назад, стараясь идти по собственным следам, потому что тоны сигналов маяка совершенно расстроились. Нужно было вернуться на дорогу, пройти по ней, сколько удастся, а если метель нарушит видимость, уходить от области гейзеров – во время погони он запомнил, как она выглядит, – пользуясь излучателем. Кое-как ему удалось найти место, где отраженный в облачном зеркале мираж заморочил его до полной потери ориентации. А может быть, он свалил дурака раньше, когда поддался не оптической, а акустической иллюзии и перестал сверять маршрут, указываемый радиомаяком, с картой? В том месте, куда его завел собственный призрак – не очень далеко от намеченной дороги, по шагомеру всего девять миль, – на карте не было никаких гейзеров. Их фронт проходил севернее – согласно последним исследованиям местности, нанесенным на карту. На основе авиационной и радарной разведки и снимков, выполненных ПАТОРСом, Мерлин

предложил перенести дорогу из Рембдена в Грааль далеко к югу, чтобы она проходила в не очень удобном, но безопасном месте, через котловину, никогда до сих пор не затоплявшуюся, хотя и засыпаемую снегами гейзеров. Поверхность этой котловины могла быть в худшем случае засыпана снегом двуокиси углерода, но у Диглатора хватало мощности, чтобы преодолеть пятиметровые сугробы, а если бы он застрял в них и сообщил об этом, Грааль мог послать туда автоматические бульдозеры, снятые с земляных работ. Но суть проблемы была в том, что неизвестно, где пропали один за другим три большехода. На прежней дороге, заброшенной после давних несчастных случаев, можно было поддерживать непрерывную радиосвязь, однако до южной котловины короткие волны не доходили напрямую, а их отражениями нельзя было воспользоваться, так как Титан лишен ионосферы. Нельзя было применить и спутниковую связь – неделю назад все расчеты спутал Сатурн, заглушивший шлейфом своей бурной магнитосферы любое излучение, кроме лазерного; лазеры Грааля, правда, пробивали слои туч и доходили до патрульных спутников, но те не могли перекодировать световые импульсы в радиосигналы, потому что не были оборудованы преобразователями волн столь широкого диапазона. Они, правда, могли принимать световые импульсы и ретранслировать их во впадину, но, к сожалению, чтобы пробить гейзерные бури, пришлось бы передавать лазерами такую энергию, которая расплавила бы зеркала спутников. Зеркала, выведенные на орбиты, когда Грааль только готовился к деятельности, постепенно покрылись коррозией, потемнели и поглощали теперь порядочную долю передаваемой энергии вместо того, чтобы отражать ее на 99 процентов. В это сплетение недосмотра, неправильно понимаемой экономии средств, спешки, транспортных задержек и обычной глупости, присущей людям везде, а стало быть, и в Космосе, попали исчезнувшие большеходы. Твердая почва южной оконечности впадины представлялась последним спасательным кругом. В том, насколько она действительно тверда, Ангусу предстояло вскоре убедиться. Если он рассчитывал найти следы своих предшественников, то скоро оставил эту надежду. Он шел по азимуту и доверял ему, поскольку дорога поднималась и вывела его из метели. Слева виднелись затянутые тучами бесснежные склоны застывшей магмы. Он ступал осторожно. Шел по камнелому, пересекая заледеневшие ложбины, во льду которых оставались пузыри незамерзшего газа. Когда раз-другой стальная ступня пробила ледяную скорлупу и попала в пустоту, треск ломающегося льда перекрыл шум моторов. Такой грохот слышат, наверное, лишь вахтенные на ледоколе, таранящем полярные торосы. Прежде чем двинуться дальше, он заботливо оглядел ногу, добытую из расщелины, и шел, пока радиодуэт одинакового тона и высоты не расстроился. Справа начало свистеть, а слева – басить. Он поворачивался, пока тоны не зазвучали одинаково. Неожиданно открылся довольно широкий проход между

нагромождениями ледяных плит – Ангус, конечно, знал, что это не лед, а застывшие углеводороды. Он спускался по сухой крупнозернистой осыпи, изо всех сил сдерживая шаг – так несло по склону тысячу восемьсот тонн большехода. Вулканические стены рассекли облака, открыли вид на котловину, и вместо надежной почвы он увидел Бирнамский лес.

Наверное, с тысячу тесно составленных жерл били одновременно, выбрасывая в атмосферу струи раствора солей аммония. Радикалы аммония, удерживаемые в свободном состоянии чудовищным давлением недр, выстреливались в темное небо, обращая его в кипящий котел. Ангус знал, что гейзеры не должны были дойти досюда. Эксперты исключали такую возможность, но сейчас он об этом не думал. Ему следовало либо сразу вернуться в Рембден, либо идти за путеводным напевом – невинным, хотя и обманным, как пение сирен Одиссея. Грязно-желтые тучи лениво и тяжело расплывались над всей впадиной, из них падал странный, липкий, тянущийся снег, создавая «бирнамские леса». Их назвали так за то, что они передвигались. На самом деле это вовсе не лес, и только с большого расстояния он напоминает занесенную снегом чащу. Неистовая игра химических радикалов, постоянно питаемая притоком новых выбросов, поскольку разные группы гейзеров бьют каждая в своем, неизменном ритме, создает хрупкие фарфоровые джунгли, достигающие четверти мили в высоту – их росту способствует слабая гравитация; так образуются скользкие белые разветвления и заросли, они накладываются друг на друга, слой за слоем, пока нижние под гнетом этого устремляющегося в небо массива кружевных ветвей не рушатся с протяжным грохотом – так рухнул бы всепланетный склад посуды при землетрясении. Как раз «посудотрясением» кто-то беззаботно назвал обвалы Бирнамских лесов, которые кажутся ошеломляющим и невинным зрелищем лишь с птичьего – вернее, с вертолетного – полета. Этот лес Титана и вблизи кажется невесомой белопенной конструкцией, поэтому не только большеход, но и человек в скафандре может пробраться сквозь его застывший подлесок. Правда, нельзя так вот бездумно углубляться в эту застывшую пену, в переплетения раздувшейся при замерзании снежной массы и кружев из тончайших фарфоровых нитей, легких как пемза. Без спешки тут можно продвигаться вперед, потому что эта громада – не что иное, как туча застывшей паутины. Здесь есть все оттенки белого: от переливающегося перламутром до ослепительно-молочного. Но хотя в лес можно войти, никогда нельзя знать, не находится ли именно эта его область на грани разрушения и не обрушится ли она, погребая путешественника под многими сотнями метров стекловидной, саморазрушающейся массы, которая только в осколках легка как пух.

Когда Ангус еще пересекал осыпь, о близости белого леса, невидимого за черными уступами горного склона, его известил блеск с этой стороны, как будто там должно было взойти солнце. Блеск был похож на свет, отраженный от туч над Северным океаном Земли, – его видно, когда корабль, плывя еще по открытой воде, приближается к ледовым полям.

Ангус шел навстречу лесу. Впечатление, что он на корабле или скорее что сам он – корабль, усиливала мерная качка несущего его великана. Пока он сходил с откоса, взгляд его достигал горизонта, обрисованного четкой линией, лес же с высоты выглядел как распластанная на почве туча, поверхность которой бурлит и сотрясается в непонятном движении. Он шел враскачку, а туча перед ним росла, как кромка материкового льда. Он уже различал отходящие от нее длинные изогнутые языки, подобные снежным лавинам, ползущим в необыкновенно медленном темпе. Когда лишь несколько сот шагов отделяло его от снежных сплетений, он начал различать зияющие в них отверстия – от крупных, размером со вход в пещеру, до мелких нор. Они темнели в блестящих переплетениях пушистых веток и рогатых суков из мутного и белого стекла. И вот под стальными башмаками захрустели мелкие острые осколки, ломающиеся при каждом шаге. Радиодуэт продолжал уверять, что направление взято верно. Он шел, слыша треск ломаемых корпусом и коленями зарослей и усилившийся шум моторов, которые увеличивали обороты, чтобы преодолеть растущее сопротивление. Шел, избавившись от первоначального волнения, без тени страха, но с отчаянием в сердце, потому что слишком хорошо понимал: легче найти иглу в стогу сена, чем хоть одного из пропавших. В этом лесу не могло остаться никаких следов, потому что непрерывно бьющие фонтаны гейзеров подпитывали тучу и любой пролом зарастал, как быстро затягивающаяся рана. Он проклинал в душе окружающую его красоту – пусть сто раз неповторимую. Тот, кто позаимствовал у Шекспира название для леса, наверное, был эстетической натурой, но не такие сравнения приходили сейчас в голову висящему в большеходе Ангусу. Бирнамский лес Титана по многим известным – и неизвестным – причинам попеременно то отступает, то охватывает во впадине тысячи, десятки тысяч гектаров, но в лесу гейзеры сами по себе не слишком опасны, потому что их присутствие ощущается издалека, еще до того, когда увидишь их вибрирующие в поднебесном рывке столбы газов, спрессованных подземным давлением, а сам их рев, столь оглушительный и пронзительный, будто в родовых муках от боли или ярости рычит сама планета, сотрясает нижние ярусы и образовавшиеся смерчи валят вокруг всю качающуюся, ломающуюся, брызгающую уже застывшим стеклом чашу. Нужно необыкновенное невезение, чтобы попасть в устье гейзера, впавшего между двумя извержениями в минутную спячку. Легко обходить на безопасном

расстоянии другие, те, что заявляют о своей активности непрерывным свистящим громом и содроганием окрестного подлеска, переливами его предсмертной белизны. Но неожиданное извержение, хотя бы и не очень близкое, погребает разведчика под гигантским обвалом.

Ангус почти прильнул лицом к бронированному стеклу и всматривался, медленно продвигаясь вперед. Он видел молочно-белые стволы самых толстых из застывших вертикальных струй; разветвления в верхней их части были подобны мерцающим клубкам – массивными и литыми они были только у основания. А вверху на заледенелых джунглях нарастали следующие – все более легкими ярусами; застывая, они принимали скелетоподобные и паутинообразные формы, превращаясь в канаты, коконы, гнезда, псевдоплауны, головастиков, в жабры еще дышащих, но ободранных до костей рыб, – ибо все это расплзлось, вилось, из толстых ледяных сосуллек вытягивались тонкие стрельчатые побеги, закручивались в мотки, и те затвердевали и обволакивались следующим слоем сразу же замерзающего клейкого молочка, непрестанно сочившегося с высоты, неведомо откуда. Никакое слово, рожденное на Земле, не могло передать то, что происходило здесь – в белом, лишенном тени светлом молчании, в этой тишине, сквозь которую слышалось еще далекое, только зарождающееся ворчание, свидетельство прилива, нагнетаемого в горловины гейзеров, и когда Ангус приостановился, чтобы прислушаться, откуда доносится этот нарастающий звук, то заметил, что Бирнамский лес начал поглощать его. Не подошел к нему, как лес в «Макбете», нет, – как бы ниоткуда, из воздуха, здесь совершенно неподвижного, появлялись микроскопические хлопья снега; они не падали, а возникали прямо на темных пластинах панциря, на стыках плечевых щитков; уже весь верх корпуса был припорошен этим снегом, который не был похож на снег, так как не падал мягко на металлические пластины корпуса, не скапливался в его углублениях, а прилипал, как белый сироп, пускал ростки – молочно-волоконистые нити, – и Ангус не успел оглянуться, как оброс снеговым мехом, который тысячами волосинок, вытягивающихся и переливающихся на свету, превратил туловище Диглатора в огромное белое чудовище, в диковинного снеговика. Тогда он позволил себе короткое резкое движение, рывок, и застывшие слепки стальных конечностей, наколенников отвалились огромными кусками, рассыпались при падении мелкими брызгами, образуя сугробы. Блеск высвечивал в этой зыбкой кипени фантазмагорические формы и бил в глаза, но не освещал почву, и Ангус только теперь по-настоящему оценил пользу работающего излучателя.

Его невидимый жар растапливал в чаще туннель, по которому Ангус шел, слыша то справа, то слева отдаленный шум газовых струй, подобный пушечным

выстрелам, доносившимся из зацепившихся за подлесок туч. Один раз он прошел мимо разрываемого судорогами, неистово хлещущего фонтана гейзера. Вдруг снежный лес расступился, впереди была поляна, укрытая крышей из ветвей, вздувшейся пузырем. Посреди лежала черная громадина, показывая ему подошвы скрещенных стальных ног и согнутый корпус, издали напоминавший корабль на мели. Левая рука была просунута между белыми стволами, ее кисть загоразживали кусты; правую корпус вдавил в грунт при падении. Стальной великан лежал согнутый, но как будто не побежденный окончательно, потому что конечности были покрыты инеем, но тело оставалось чистым. Воздух чуть дрожал над выпуклостью туловища, подогреваемый теплом, все еще поступавшим изнутри, и Парвис, окаменевший около большехода-близнеца, просто не смел поверить, что невероятное чудо встречи произошло. Он собрался было подать голос, но заметил два обстоятельства: под поверженным Диглатором широко растеклась лужа маслянисто-желтой жидкости из лопнувших трубопроводов гидравлики, что означало в лучшем случае частичный паралич. Кроме того, переднее стекло кабины, сейчас так похожее на овальный иллюминатор, было разбито; в окантовке рамы торчала изоляция. Из этого отверстия, наполненного мраком, шел пар, как будто агонизирующий гигант никак не мог испустить последний вздох. Торжество, радость, ошеломление пилота сменились ужасом. Осторожно и медленно наклоняясь над развалившейся машиной, он уже понимал, что она пуста. Прожектор осветил внутренность большехода – там были свободно висящие ремни с прицепленной к ним металлизированной кожей; наклониться сильнее он не мог и с трудом осмотрел все углы пустой кабины в надежде, что потерпевший аварию, уходя в скафандре, оставил какое-нибудь известие, знак, но увидел только опустошенный ящик для инструментов и выпавшие из него ключи. Он довольно долго пытался догадаться, что произошло. Диглатор мог упасть из-за обвала, а водитель, когда попытки сдвинуть с места придавленную машину не удалось, выключил систему ограничителей мощности, и в результате от чрезмерного давления лопнули маслопроводы. Остекление кабины он разбил не сам, поскольку мог выбраться через люк в бедре или аварийный в спине. Скорее всего, оно расколосось при обвале, когда большеход упал ничком. На бок он повернулся, пытаясь сбросить придавившую его тяжесть. Ядовитая атмосфера, наполнив кабину, умертвила бы человека быстрее, чем мороз. Значит, обвал не застал его врасплох. Когда сплетенные ветви навалились на машину, водитель, видя, что ей не выстоять, успел надеть скафандр. Потому-то ему и пришлось прибегнуть к аварийному управлению: сначала он скинул электронную кожу. Его Диглатор не нес на себе излучателя, и он совершил единственно разумный поступок. Взял инструменты и вполз в машинное отделение; убедившись, что гидравлику не исправить, так как лопнуло слишком много маслопроводов и

утечка оказалась слишком велика, отключил трансмиссии от реактора и включил его на почти полную мощность. Большеход он все равно считал погибшим, и жар ядерного реактора, хотя и пережег движители машины – или скорее именно потому, что разогрел их докрасна, – проходил сквозь бронированное туловище и растапливал завал. Так образовалась эта пещера с остекленевшими стенами, сам вид которых свидетельствовал о температуре, исходившей от остова. Ангус проверил свои предположения, поднеся к спине корпуса счетчики Гейгера. Они мгновенно защелкали. Реактор на быстрых нейтронах расплавился от внутреннего жара и, наверное, уже остывал, но внешний панцирь был горячим и радиоактивным. Значит, водитель покинул машину через разбитое стекло, бросив бесполезные инструменты, и пошел в лес. Ангус пытался разглядеть следы на разлитом масле и, не найдя их, прошел вокруг металлического трупа, высматривая в стенах сверкающей пещеры отверстия, сквозь которые бы мог пролезть человек. Таких нигде не было. Ангус не мог рассчитать, сколько времени могло пройти с момента аварии. Два человека пропали в лесу трое суток назад. Пиркс – на двадцать-тридцать часов позже. Малая разница во времени не позволяла определить, обнаружил он машину одного из операторов Грааля или же Пиркса. Живой, закованный в железо, он стоял над мертвым железным ломом и с холодной рассудительностью раздумывал, что предпринять. Где-то в этом расплавленном пузыре обязательно был пролом, которым воспользовался водитель и который после его ухода успел затянуться. Фарфоровый шрам должен быть довольно тонким. Из Диглатора его не разглядеть. Остановив машину, он поспешно переоделся в скафандр, сбежал по гулким ступеням к люку на бедре, спустился по лесенке на стопу и спрыгнул на скользкий грунт. Пещера, выплавленная в завале, теперь казалась ему намного большей, или – вернее – сам он как бы внезапно уменьшился. Он обошел ее кругом – почти шестьсот шагов. Прижимался шлемом к прозрачным местам, простукивал их – к сожалению, их было много, – а когда молотком, прихваченным из рубки, стал стучать по углублению между твердыми, как дуб, стволами, стенка треснула, подобно стеклу, и на него сейчас же посыпалось с потолка пещеры. Сначала ссыпалась струйка мелких обломков, потом раздался треск, и сорвалась целая туча мелких кусков и стеклянной пыли. Тогда он понял, что все напрасно. Следов потерпевшего аварию не найти, а сам он тоже в хорошей ловушке. Пролом, сквозь который он вошел внутрь растопленного завала, затягивался белыми сосульками, они уже затвердевали, как соляные столпы, но соль эта была не земная – они разветвлялись на стволы толщиной в руку. Ничего нельзя было сделать. Более того, не оставалось времени на раздумье, поскольку своды оседали и почти касались купола излучателя на плечах большехода и тот словно превращался в Атланта, держащего на себе всю тяжесть застывших наверху выбросов гейзера. Он не помнил, как вновь

оказался в кабине, уже чуть-чуть наклонившейся вместе с туловищем, которое сгибалось миллиметр за миллиметром, не помнил, как натянул электронный костюм. Еще мгновение он думал, не включить ли излучатель. Но теперь в любом его действии таился непредсказуемый риск: подтаявший свод мог поддаться, а мог и рухнуть; он прошел несколько шагов, отыскал место рядом с черным остовом, откуда можно было взять разбег, и на полной мощности таранил замерзший вход – не затем, чтобы позорно бежать, но чтобы выбраться из стеклянистой могилы. А дальше будет видно.

Турбонасосы взвыли. Белая с натеками стена треснула под ударом двух стальных кулаков, черные трещины звездами разбежались вверх и в стороны, и тут же раздался гром. Все случилось слишком быстро, он ничего не успел понять. Он ощутил удар сверху, настолько мощный, что ограждающий его гигант издал единственный басовый стон, зашатался, пролетел в пролом, как лист бумаги, и рухнул наземь под лавиной обломков и крошки так неожиданно, что, несмотря на амортизацию подвески, внутренности комом подступили Парвису к горлу. При всем этом последний этап падения происходил невероятно медленно: глыбы на дороге, по которой он пришел, приближались, отчетливо видные сквозь стекло, как будто не он падал, а снежная гладь, обстреливаемая градом обломков, вставала перед ним на дыбы; с многоэтажной высоты он приближался к этой белизне, окутанной облаками пыли, пока сквозь все шпангоуты туловища, защитные пластины панциря, сквозь вой двигателей до него не долетел последний грохочущий удар. Он лежал ослепленный. Стекло не лопнуло, а врезалось в завал, тяжесть которого он ощущал на себе, на спине Диглатора; двигатели выли уже не под ним, а за ним – на холостом ходу, поскольку из-за перегрузки автоматически отключились муфты сцепления. На черном, как сажа, фоне окна рдели все указатели. Постепенно они поблекли, стали зеленоватыми, но те, что были слева, гасли один за другим, как остывающие угольки. Левая сторона машины была парализована: движения левой руки и ноги Ангуса не давали никакого эффекта. Светился лишь контур другой, симметричной половины большехода. Судорожно вдохнув воздух, он ощутил запах горячего масла: так и есть. Можно ли хотя бы ползти в наполовину парализованном Диглаторе? Он попробовал. Турбины послушно запели в унисон, но предупредительные сигналы блеснули пурпуром. Обвал швырнул машину бакбортом вперед, и тот принял на себя всю тяжесть удара. Глубоко дыша, двигаясь очень медленно, он вслепую включил внутреннее освещение, потом – аварийный интроскоп большехода, показывающий состояние конечностей и всего туловища, за исключением двигателей. Обрисованное холодными линиями изображение появилось сразу. Стальные ноги сцепились, вернее, переплелись; левый коленный сустав лопнул. Левая ступня зашла за правую, но и той он не

мог пошевелиться. Там, очевидно, сцепились выступающие элементы конструкции, а остальное довершило давление обвала. Раздражающий запах перегретой жидкости из гидравлики жег ноздри. Еще раз он попробовал сдвинуться с места, переключив сеть маслопроводов на другой, куда менее мощный аварийный контур. Тщетно. Что-то теплое, склизкое мягко обтекало его ступни, голени, бедра – лежа на стекле, он в белом свете лампочки над головой увидел втекающее в кабину масло. Оставался единственный выход. Он расстегнул молнию, вылез из электронной оболочки, голый, присев на корточки, открыл стенной шкаф, очутившийся теперь на потолке, и охнул, когда на него вывалился скафандр, ударив в грудь кислородными баллонами, а за скафандром в лужу масла упал белый шар шлема. Без колебаний, голый, в спокойном искусственном свете, он влез в скафандр, вытер основание шлема, потому что и оно уже было в масле, надел его, застегнулся и на четвереньках полез через колодец, теперь горизонтальный, к люку на бедре.

Ни рабочего, ни аварийного люка открыть не удалось. Никто не знает, сколько времени он провел потом в кабине, в какую минуту снял шлем и, лежа на залитом маслом стекле, поднял руку к красному огоньку, чтобы разбить пластиковый колпачок и изо всех сил вогнать в глубь будущего кнопку витрификатора. Никто не может знать и того, что он думал и чувствовал, готовясь к ледяной смерти.

## Совет

Доктор Герберт сидел у открытого настежь окна и, удобно вытянувшись, прикрыв ноги пушистым пледом, рассматривал пачку запрессованных в пластик гистограмм. Хотя день был в разгаре, в комнате стоял полумрак. Его усиливал темный, словно закопченный, потолок, на котором перекрещивались грубые, с каплями смолы балки. Пол был дощатый, стены – из толстых бревен. В окнах виднелись поросшие лесом склоны Ловца Туч, а вдали – массив Кракаталя и отвесный обрыв самой высокой вершины, похожей на буйвола с обломанным рогом, которую индейцы столетия назад называли Камнем, Взятым в Небо. Над серой от валунов долиной поднимались отлогие склоны, в тени поблескивавшие льдом. За северным перевалом виднелись синюющие равнины. Там, вдали, поднималась в небо тонкая струйка дыма – знак действующего вулкана. Доктор Герберт сравнивал снимки, делая на некоторых пометки. До него не долетало ни малейшего шороха. Пламя свечей стояло неподвижно в прохладном воздухе. Их

свет карикатурно вытягивал очертания мебели, вытесанной на древнеиндейский манер. Огромное кресло в виде человеческой челюсти отбрасывало на потолок чудовищную тень ощеренных подлокотников, заканчивающихся торчащими клыками. Над камином скалились безглазые деревянные маски, а ножкой столика, стоявшего неподалеку от Герберта, служила свернувшаяся змея, голова которой лежала на ковре, поблескивая глазами. В них красноватым светом переливались полудрагоценные камни.

Издалека слышался звук колокольчика. Герберт отложил снимки и встал. Комната мгновенно преобразилась, превратившись в просторную столовую. Посредине стоял стол без скатерти. На темной поверхности сияло серебро и нефритовая зелень приборов. В открытую дверь вкатилась коляска, какими обычно пользуются парализованные. В ней покоился толстый человек с мясистым лицом и маленьким носом, тонущим в щеках. Толстяк был одет в просторную кожаную куртку. Он вежливо поклонился Герберту, сидевшему за столом. Тут же появилась худая как палка дама, черные ее волосы разделяла надвое седая прядь. Напротив Герберта уселся невысокий господин с апоплексическим лицом. Когда слуга в вишневой ливрее подавал первое, вошел опоздавший – седой мужчина с раздвоенным подбородком. Остановившись между буфетами, у массивного облицованного камнем камина, он согрел над огнем руки, прежде чем сесть на место, указанное парализованным хозяином.

– Ваш брат еще не вернулся с экскурсии? – спросила худая женщина.

– Торчит, вероятно, на Зубе Мацумака и смотрит в нашу сторону, – ответил опоздавший, подвинув свое кресло к столу.

Он ел быстро, с аппетитом. Если не считать этого обмена репликами, обед прошел в молчании. Когда слуга налил последнюю чашечку кофе, аромат которого смешивался со сладковатым запахом сигар, вновь прозвучал голос худой женщины:

– Вантенедда, сегодня вы должны рассказать нам продолжение этой истории про Око Мацумака.

– Да, да, – отозвались все.

Мондиан Вантенедда несколько надменно сплел пальцы на толстом животе. Обвел взглядом присутствующих, как бы замыкая круг слушателей. В камине треснуло догорающее полено. Кто-то отложил вилку. Звякнула ложечка, и настала тишина.

– Так на чем я остановился?

– На том, как дон Эстебан и дон Гильельмо, узнав легенду о Кратапульку, отправились в горы, чтобы проникнуть в Долину Семи Красных Озер.

– За все время пути, – начал Мондиан, устраиваясь поудобнее в своей коляске, – оба испанца не встретили ни зверя, ни человека, только иногда слышался клекот орлов да изредка сверху пролетал коршун. С трудом удалось им забраться на откосы Мертвой Руки. Оттуда их взорам открылся высокий хребет, напоминавший туловище коня, вставшего на дыбы, с задранной в небо бесформенной мордой. Гребень хребта, острый как лошадиная шея, окутывал туман. Тогда дону Эстебану вспомнились странные слова старого индейца из долины: «Берегитесь гривы Черного Коня». Они посоветовались, стоит ли идти дальше; у дон Гильельмо, как вы помните, на предплечье была вытатуирована схема горной цепи. Запасы еды подходили к концу, хотя был всего шестой день пути. Они подкрепились остатками солонины, жесткой как канат, и утолили жажду у родника, вытекавшего из-под Срубленной Головы. Но никак не могли сориентироваться, ибо вытатуированная карта оказалась неточной. Перед заходом солнца начал, как прилив на море, подниматься туман. Они полезли вверх, на хребет Коня, но, хотя шли так быстро, что дышали, как загнанные звери, и кровь стучала в висках, туман оказался быстрее и настиг их на самой шее Коня. Там, где их накрыла белая пелена, ребро сужалось до толщины рукоятки мачете. Идти было нельзя, и они сели на ребро верхом, как на коня, и так продвигались, окруженные со всех сторон влажной белой мглой, пока не стемнело. Когда силы их иссякли, грань кончилась. Они не знали, что перед ними – обрыв пропасти или тот спуск в Долину Семи Красных Озер, о котором рассказывал старый индеец. Всю ночь просидели они, спина к спине, согревая друг друга и сопротивляясь ночному ветру, который свистел на ребре, как нож на точиле. Задремлешь – свалишься в пропасть, и семь часов они не смыкали глаз. Потом взошло солнце и растопило туман. Они увидели, что под ногами у них скальные стены. Впереди зияла восьмифутовая расщелина. Туман рвался в ключья о шею Коня. Вдалеке они видели черную Голову Мацумака и поднимающиеся вверх столбы красного дыма вперемешку с белыми облаками. Обдирая в кровь руки, они спустились по узкому ущелью и добрались до Долины

Семи Красных Озер. Здесь, однако, силы оставили Гильельмо. Дон Эстебан, ведя товарища за руку, полез на скальный уступ, нависавший над пропастью. Они шли так, пока не набрели на осыпь, где смогли передохнуть. Солнце поднялось высоко, и Голова Мацумака принялась плевать в них глыбами, отскакивавшими от скальных навесов. Спасаясь, они побежали вниз. Когда голова Коня в вышине над ними стала казаться не больше детского кулачка, они увидели Красный Родник в облаке рыжей пены. Тогда дон Эстебан достал из-за пазухи связку ремешков цвета дерева аканта с бахромой из шнурочков, выкрашенных красным и завязанных множеством узелков. Он долго перебирал их, читая индейские письма, пока не нашел нужную дорогу.

Перед ними расстилалась Долина Молчания. Они шли по огромным камням, между которыми зияли бездонные провалы.

– Мы уже близко? – произнес Гильельмо шепотом – пересохшие голосовые связки не давали ему говорить громко.

Дон Эстебан дал ему знак молчать. В какой-то момент Гильельмо споткнулся и столкнулся с камнем, за которым посыпались другие. Отвечая на шум, вертикальные стены Долины Молчания задымились, покрылись серебристой мглой, и тысячи известняковых палиц рухнули вниз. Дон Эстебан, который как раз поравнялся со скальной нишей, втянул приятеля под навес; смертоносная лавина докатилась до них и бурей пролетела дальше. Через минуту все стихло. Дона Гильельмо ранило в голову осколком камня. Дон Эстебан содрал с себя рубашку, разорвал на полосы и перевязал ему лоб. Наконец, когда долина сузилась так, что полоска неба над их головами была не шире реки, они увидели поток, струившийся по камням без малейшего звука. Вода его, сверкавшая, как бриллиант, уходила в узкий желоб. Им пришлось по колено войти в ледяную быструю воду. Течение сбивало с ног. Вскоре, однако, поток свернул в сторону, и они оказались на сухом желтом песке перед пещерой со множеством отверстий в глубине. Дон Гильельмо без сил опустился на песок и тут заметил его странный блеск. Горсть песка, которую он взял, чтобы рассмотреть, была необычайно тяжелой. Он поднял руку ко рту и попробовал песок на вкус. И понял, что это золото. Дон Эстебан вспомнил слова индейца и оглядел грот. В одном углу горело отвесное, застывшее, совершенно неподвижное пламя. Это была отполированная водой кристаллическая глыба; над ней в скале зияло небо. Он подошел к прозрачной глыбе и заглянул в ее глубину. По форме она была похожа на огромный, вогнутый в землю гроб. Сначала он разглядел в глубине лишь мириады подвижных огоньков, ошеломляющее кружение серебра. Потом ему показалось,

что все вокруг стало темнеть, и он увидел огромные раздвигающиеся берестяные пластины. Когда они исчезли, он заметил, что из самого центра ледяной глыбы на него кто-то смотрит. Это был медный лик, избороденный резкими морщинами, с узкими, как лезвие ножа, глазами. Чем дальше дон Эстебан смотрел, тем заметнее становилась злобная улыбка видения. С проклятием он ударил стилетом, но оружие бессильно скользнуло по камню. В тот же миг медное лицо, искривленное усмешкой, исчезло. Поскольку у дон Гильельмо начался жар, дон Эстебан не стал рассказывать ему о видении.

Они собрались идти дальше. Из грота шло множество коридоров. Они выбрали самый широкий, зажгли припасенные факелы и двинулись вперед. Вдруг в стене черной пастью открылся боковой коридор. Оттуда дул горячий, как огонь, воздух. Им пришлось преодолеть это место прыжком. Дальше коридор сужался. Какое-то время они двигались на четвереньках, добрались до такого тесного участка, что пришлось ползти. Потом лаз неожиданно расширился, и они смогли опять продвигаться на четвереньках. Когда догорал последний факел, под коленями у них захрустело. При угасающем свете еще можно было что-то разглядеть. Пол покрывали куски чистого золота. Но и этого им было мало. Увидев Уста Мацумака и его Око, они не могли не пойти к его Чреву. В какой-то момент дон Эстебан увидел нечто и шепнул об этом товарищу. Гильельмо тщетно заглядывал ему через плечо.

- Что ты видишь? - спросил он.

Догорающий факел жег Эстебану пальцы. Вдруг он выпрямился - стены раздвинулись, кругом был только мрак, в котором факел высвечивал лишь красноватый вход в другую пещеру. Гильельмо видел, как товарищ сделал несколько шагов вперед, как пламя в его руке колебалось, отбрасывая громадные тени.

Внезапно в глубине показалось огромное призрачное, висящее в воздухе лицо с опущенными глазами. Дон Эстебан закричал. Это был страшный крик, но Гильельмо разобрал слова. Товарищ его взывал к Иисусу и Божьей Матери, а люди, подобные Эстебану, произносят такие слова только перед лицом смерти. Услышав крик, Гильельмо закрыл глаза руками. Потом раздался грохот, дохнуло жаром, и он упал без чувств.

Мондиан Вантенедда откинулся в кресле и молча смотрел куда-то поверх голов слушателей. Темный его силуэт рисовался на фоне окна, лилового в

сгущавшихся сумерках, пересеченного зубчатой линией гор.

– В верхнем течении Аракериты индейцы, охотившиеся на оленей, выловили белого человека. К плечам его была привязана надутая воздухом буйволова шкура. Спина его была рассечена, ребра выломаны назад наподобие крыльев. Индейцы, опасаясь солдат Кортеса, пытались сжечь труп, однако через их селение проходил отряд конных гонцов Понтерона, прозванного Одноглазым. Труп отвезли в лагерь и опознали дона Гильельмо. Дон Эстебан не вернулся никогда.

– Как же стала известна вся история?

Голос был похож на скрип. Вошел слуга с канделябром. В подвижном пламени свеч стало видно лицо задавшего вопрос – желтое, с бескровными губами. Он любезно улыбался.

– Вначале я пересказал слова старого индейца. Он говорил, что Мацумак видит своим оком все. Возможно, он выражался несколько мистически, но в принципе был прав. Шестнадцатый век только начинался, и европейцы мало знали о возможностях усиления зрения, какие дают шлифованные стекла. Два огромных куска горного хрусталя – неизвестно, созданные ли природой или отшлифованные рукой человека, – располагались на Голове Мацумака и в пещере Чрева так, что, если смотреть в один, было видно все, что окружало другой. Это был своеобразный перископ из двух зеркальных призм, отстоящих одна от другой на тридцать километров. Индеец был на вершине Головы, и он видел обоих святотатцев, входивших в Чрево Мацумака. А возможно, не только видел, но и мог принести им гибель.

Мондиан взмахнул рукой. На стол, в круг оранжевого света, упала связка ремней, скрепленных с одного конца узлом. Они были покрыты трещинами, краска с них облезла. Ремни при падении шелестели, такой сухой была кожа.

– Значит, – закончил Вантенед, – был кто-то, следивший за этим походом и оставивший его описание.

– Стало быть, вы знаете путь к золотым пещерам?

Улыбка Мондиана делалась все безразличнее, как будто он вместе с гаснущими за окном вершинами уплывал в холодную, безмолвную горную ночь.

– Этот дом стоит как раз у входа в Уста Мацумака. Когда там произносилось слово, Долина Молчания повторяла его мощным грохотом. Это был природный каменный рупор – в тысячи раз сильнее электрических.

– Как это?

– Столетия назад в зеркальную плиту попала молния, переплавив ее в кучку кварца. На Долину Молчания, собственно, и выходят наши окна. Дон Эстебан и дон Гильельмо явились со стороны Врат Ветров, но теперь Красные Родники давно уже иссякли, а голос не может вызвать лавину; очевидно, долина была резонатором и какие-то звуковые колебания расшатали основания известняковых пиков. Пещеру завалило подземным взрывом. Там был висячий камень, как клин отделявший одну от другой две скальные стены. Сотрясение вытолкнуло его, и скалы сомкнулись навсегда. Что случилось позже, когда испанцы пытались одолеть перешеек, кто обрушил каменную лавину на пехотинцев Кортеса – неизвестно. Думаю, этого никто никогда не узнает.

– Ну-ну, дорогой Вантенед, скалы можно взорвать, пробурить, воду из подземелья откачать, правда? – сказал толстый приземистый господин, сидевший на углу стола. Он курил тонкую сигару.

– Вы думаете? – Мондиан не скрывал иронии. – Нет такой силы, которая отверзла бы Уста Мацумака, если он этого не желает, – сказал он, резко отодвигаясь от стола.

Воздух всколыхнулся и загасил две свечи. Остальные горели голубоватым пламенем, хлопья сажи вспархивали над ними, как мотыльки. Мондиан просунул между склонившимися над столом лицами свою волосатую руку, схватил со стола связку ремешков и с такой силой развернулся на месте, что взвизнула резина колес. Присутствующие встали и начали выходить. Доктор Герберт сидел на месте, не отрывая взгляда от подвижного пламени свечи. Из открытого окна сквозило. Он вздрогнул от пробирающего холода и взглянул на слугу – тот внес и положил у решетки камина, обожженной до синевы, тяжелую охапку дров, сноровисто разгреб угли и сооружал над ними хитроумный шатер, когда кто-то открыл другую дверь и дотронулся до косяка. Комната снова мгновенно

преобразилась. Камин, сложенный из грубых камней, слуга, стоящий у огня, стулья с резными спинками, канделябры, свечи, окна и ночные горы за ними исчезли в ровном матовом свете; исчез накрытый широкий стол, и в небольшой белой комнате под куполообразным гладким потолком остался только Герберт, сидящий на стуле перед сохранившимся квадратом стола и тарелкой с недоеденным куском мяса на ней.

– Развлекаешься? Сейчас? Старыми небылицами? – спросил вошедший.

Выключив зрелище, он теперь не без труда избавлялся от раздутой прозрачной пленки, покрывавшей его мохнатый, застегнутый до горла комбинезон. Наконец он разорвал пленку, не сумев высвободить из нее ноги в блестящих, как металл, башмаках, смял, отбросил и провел большим пальцем по груди, отчего комбинезон широко распахнулся. Он был моложе Герберта, ниже ростом, с открытой мощной шеей над вырезом рубахи.

– Сейчас только час. Мы уговорились на два, а гистограммы я и так знаю наизусть. – Герберт, чуть смутившись, повертел в руках пачку.

Вошедший расстегнул толстые голенища сапог, не спеша подошел к металлическому выступу, тянущемуся вдоль стен, и быстро, как карточный фокусник, вызвал в обратном порядке один за другим эпизоды застолья, равнину, окруженную отвесными плитами известняков, белеющими в лунном свете, как жуткий скелет летучей мыши, джунгли, полные разноцветных бабочек, порхающих среди лиан, наконец, песчаную пустыню с высокими термитниками. Видения появлялись мгновенно, окружали людей и пропадали, сменяясь следующими. Герберт терпеливо ждал, пока его коллеге не надоест это мелькание. Он сидел в мерцающей игре света и красок, держа пачку гистограмм, и был уже далек мыслями от зрелища, которым, быть может, хотел заглушить беспокойство.

– Что-то изменилось? – спросил он наконец. – Да?

Его младший коллега вернул комнате аскетический вид, лицо его посерьезнело, и он не совсем внятно пробормотал:

– Нет. Ничего не изменилось. Но Араго просил, чтобы мы зашли к нему перед советом.

Герберт заморгал – видно было, что новость неприятна ему.

– И что ты ответил?

– Пообещал прийти. Что ты так смотришь? Не нравится тебе этот визит?

– Я не в восторге. Отказать ему было нельзя. Это ясно. Но и без теологических примесей задача у нас отвратительная. Чего он от нас хочет? Он сказал что-нибудь?

– Ничего. Это не только порядочный, но и умный человек. И деликатный.

– Вот он деликатно и даст нам понять, что мы каннибалы.

– Чепуха. Мы же не на суд идем. Мы взяли их на борт, чтобы оживить. Он это тоже хорошо знает.

– И про кровь?

– Понятия не имею. Разве это так страшно? Переливание крови делают уже двести лет.

– На его взгляд, это будет не переливание крови, а по меньшей мере осквернение трупов. Ограбление мертвецов.

– Которым ничто иное не поможет. Трансплантация стара как мир. Религия – я не специалист... Во всяком случае, его церковь этому не противилась. И вообще, что у тебя за угрызения совести из-за священника? Командир и большинство совета согласятся. У Араго нет даже права голоса. Он летит с нами как ватиканский или апостольский наблюдатель. Как пассажир и зритель.

– Вроде бы так, Виктор. Но гистогаммы оказались роковой неожиданностью. Не следовало брать эти трупы на «Эвридику». Я был против. Почему их не отправили на Землю?

– Ты сам знаешь – так получилось. Кроме того, я считаю, что если наш полет кому-то нужен, то в первую очередь им.

– Много ли им с этого пользы, если в лучшем случае удастся реанимировать одного за счет остальных?

Виктор Терна удивленно смотрел на него.

– Что с тобой стряслось? Опомнись. Разве это наша вина? На Титане не было возможности поставить диагноз. Разве не так? Отвечай. Я хочу знать, с кем я на деле пойду к этому доминиканцу. Ты вернулся к вере праотцов? Видишь в том, что мы должны сделать – к чему мы должны стремиться, – что-то дурное? Грех?

Герберт сдержал приступ раздражения:

– Ты прекрасно знаешь, что я буду стремиться к тому же, что ты и главный врач, и знаешь мое мнение. Не в воскрешении зло. Зло в том, что из двоих годных для реанимации удастся оживить лишь одного и что никто не сделает выбора за нас... Одна маета. Пошли. Хочется, чтобы все скорее кончилось.

– Мне надо переодеться. Подождешь?

– Нет. Пойду один. Приходи туда, к нему. Это на какой палубе?

– На третьей, в средней секции. Я приду через пять минут.

Они вышли вместе, но сели в разные лифты. Овальная серебристая кабина помчала Герберта, едва он тронул нужные цифры. Яйцеобразное устройство мягко затормозило, вогнутая стена раскрылась спиралью, как диафрагма в фотоаппарате. Напротив, залитые светом невидимого источника, тянулись двери с высокими порогами, как на старых кораблях. Он нашел дверь с номером 84, с маленькой табличкой: «Р.П. Араго, МА., ДП. ДА.». Прежде чем он сумел решить, что означают буквы «ДА» – «Делегат Апостольский» или «Doctor Angelicus» – мысль эта была так же неумна, как и неуместна, – двери раскрылись. Он вошел в просторную каюту, сплошь заставленную книгами на застекленных полках. На стенах, друг напротив друга, висели картины в светлых рамах от потолка до пола. Справа – «Древо познания» Кранаха с Адамом, змием и Евой, слева –

«Искушение святого Антония» Босха. Не успел он как следует приглядеться к существам, плывущим по небу «Искушения», как Кранах исчез за книжными полками, открылся проход, вошел Араго в белой сутане, и, прежде чем картина вернулась на свое место, врач заметил позади доминиканца черный крест на белом фоне. Они обменялись рукопожатием и сели за низкий столик, хаотически заваленный бумагами, вырезками и множеством раскрытых томов, из которых торчали разноцветные закладки. Лицо у Араго было худощавое, смуглое, серые пронзительные глаза смотрели из-под светлых бровей. Сутана казалась слишком просторной для него. Тонкие руки пианиста держали обычный деревянный метр. Герберт от нечего делать рассматривал корешки старинных книг. Ему не хотелось начинать разговор. Он ждал вопросов, но они не были заданы.

– Доктор Герберт, по знаниям я вам не ровня. Но все же могу разговаривать с вами на языке Эскулапа. Я был психиатром до того, как стал носить это одеяние. Главный врач дал мне возможность ознакомиться с данными... этой операции. Их смысл коварен. Из-за несовместимости групп крови и тканей. В расчет входят два человека, но пробудиться может лишь один.

– Или никто, – вырвалось у Герберта почти произвольно. Скорее всего потому, что монах избежал соответствующего термина: воскресение из мертвых. Доминиканец понял мгновенно:

– Distinguo[2 - Здесь: безусловно (лат.)]. То, что имеет значение для меня, для вас, наверное, не важно. Диспут на эсхатологическом уровне беспредметен. Другой бы на моем месте стал говорить, что человек истинно мертв, когда тело его в состоянии разложения. Когда в нем произошли необратимые изменения. И что таких покойников на корабле семь. Я знаю, что их останки придется потревожить, и понимаю эту необходимость, хотя и не имею права ее одобрить. От вас, доктор, и от вашего друга, который сейчас здесь появится, я хочу получить ответ на один вопрос. Вы можете и отказаться отвечать.

– Я вас слушаю, – сказал Герберт, чувствуя, что напрягается.

– Вы наверняка догадались. Речь идет о критериях выбора.

– Терна скажет вам то же, что и я. Мы не располагаем никакими объективными критериями. И вы, ознакомившись с данными, тоже это знаете, отец Араго.

– Я знаю. Оценка шансов выше человеческих сил. Медикома, произведя миллиарды расчетов, оценили шансы двух из девяти как девяносто девять процентов в границах доверительного интервала погрешности. Объективных критериев нет, только поэтому я осмелился спрашивать о ваших.

– Перед нами две задачи, – с некоторым облегчением ответил Герберт. – Врачи, включая главного, будут просить у командира определенных изменений в режиме полета. Вы ведь наверняка будете на нашей стороне?

– Я не могу участвовать в голосовании.

– Верно. Но ваша позиция может оказать влияние...

– На результат этого совета? Он уже предрешен. Я не допускаю мысли о какой бы то ни было оппозиции. Большинство выскажется «за». А у командира есть право принять окончательное решение, и меня бы удивило, если бы врачи его уже не знали.

– Мы будем добиваться больших изменений, чем предполагалось. Девяносто девяти процентов для нас недостаточно. Имеет значение каждый следующий знак за запятой. Энергетические затраты с учетом задержки экспедиции будут огромны.

– Это новость для меня. А... другая задача?

– Выбор трупа. Мы совершенно беспомощны, поскольку из-за безобразного недосмотра, который радисты называют более изысканно – перегрузкой каналов связи, – мы не можем установить ни имен, ни профессий, ни биографии этих людей. На деле произошло худшее, чем небрежность. Мы взяли на борт эти контейнеры, не зная, что память старых устройств этой шахты, Грааля, и вычислительных машин в Рембдене по большей части уничтожена в ходе демонтажа. Люди, ответственные за судьбу тех, кого командир с нашего согласия взял на корабль, заявили, что данные можно будет получить с Земли. Неизвестно только, кто, когда, кому дал такое поручение – известно, что все, можно сказать, умыли руки.

– Так случается, когда полномочия многих людей взаимно перекрываются. Но это не может служить ни для кого оправданием...

Монах сделал паузу, посмотрел Герберту в глаза и тихо спросил:

- Вы были против того, чтобы взять жертвы на корабль?

Герберт нехотя кивнул.

- В суматохе перед стартом одиночный голос, к тому же врача, а не опытного астронавта, не мог иметь веса. Если я был против, испытывая некоторые опасения, сейчас мне от этого не легче.

- Ну и как же? На что вы решитесь? Бросать жребий?

Герберт нахмурился.

- Выбор после совета не будет зависеть ни от кого, кроме нас, если все наши требования будут выполнены в чисто техническом отношении. Навигационном. Мы проведем новый осмотр и переберем до последней пылинки содержимое витрификаторов.

- Какое влияние на выбор реанимируемого может иметь его идентификация?

- Возможно, никакого. Во всяком случае, это не будет чертой или качеством, существенным в медицинском отношении.

- Эти люди, - монах взвешивал слова, говорил медленно, как бы приближаясь к кромке льда, - погибли при трагических обстоятельствах. Одни - выполняя обычную работу в шахтах или на предприятии, другие - идя им на помощь. Вы допускаете такую дифференциацию - если она удастся - как критерий?

- Нет.

Ответ был немедленный и категоричный.

Раздвинулась стена книг, вошел Терна и извинился за опоздание. Монах поднялся. Герберт тоже встал.

– Я узнал все, что было возможно, – сказал Араго. Ростом он был выше обоих врачей. За его спиной Ева обращалась к Адаму, змий полз по райскому дереву. – Благодарю вас. Я убедился в том, что должен был знать и так. Наши дела подобны. Мы не судим никого по заслугам или грехам, как и вы спасаете не по этим меркам. Я не удерживаю вас: вам пора. Увидимся на совете.

Они вышли. Герберт в нескольких словах пересказал Терне разговор с апостольским наблюдателем. На идеально круглом пересечении коридоров они вошли в матово-серебряный яйцеобразный лифт; нужная шахта открылась и поглотила его с протяжным вздохом. В круглых окошках замигали огни несущихся мимо палуб. Врачи молча сидели друг напротив друга. Оба, неизвестно почему, чувствовали себя задетыми сентенцией, которой монах заключил беседу. Но это впечатление было настолько неопределенным, что не стоило анализировать его перед тем, что их ожидало.

Зал совещаний помещался в пятом отсеке «Эвридики». Корабль, если наблюдать его в полете издалека, напоминал длинную белую гусеницу с округлыми выпуклыми сегментами – крылатую гусеницу, так как из ее боков торчали консоли, заканчивающиеся корпусами гидротурбин. Плоскую голову «Эвридики» наподобие усиков или щупалец окружали шипы множества антенн. Шарообразные отсеки соединялись короткими цилиндрами тридцати метров в диаметре, и все это скреплял двойной внутренний киль, принимавший на себя нагрузки при торможении, разгоне и маневрах. Двигатели, называемые гидротурбинами, на самом деле были термоядерными реакторами прямого типа; топливом для них был водород высокого вакуума.

Эта тяга оказалась даже лучше фотонной. Отдача ядерного топлива при околосветовых скоростях падает, так как львиную долю кинетической энергии уносит с собой пламя выброса, бесполезно бьющее в пустоту, и лишь малая часть высвобожденной энергии передается ракете. Фотонная, то есть световая, тяга требует загрузки корабля миллионами тонн материи и антиматерии в качестве аннигиляционного топлива. А струйно-прямоточные двигатели используют в качестве топлива межзвездный водород. Однако его вездесущие атомы так редки в галактическом вакууме, что эффективная работа двигателей этого типа возможна лишь при скорости выше 30 000 километров в секунду. Полной же мощности они достигают при приближении к световой скорости. Таким образом, корабль с подобной тягой не может стартовать с планеты сам, он слишком массивен, и его приходится разгонять до момента, когда атомы

начнут поступать во входные отверстия реакторов в концентрации, достаточной для воспламенения. Только тогда глубочайший космический вакуум вталкивает в его зияющие, открытые в пустоту заборники столько водорода, чтобы в огневых камерах могли разгореться искусственные солнечные протуберанцы; коэффициент полезного действия растет, и корабль, не отягощенный собственными запасами топлива, может лететь с постоянным ускорением. После почти года ускорения, соответствующего земному притяжению, достигается девяносто девять процентов скорости света, и за минуты, пробегающие на борту корабля, на Земле проходят десятки лет.

«Эвридику» строили на околотитановой орбите, так как Титан должен был служить ей стартовой площадкой. Миллионы тонн массы луны были превращены термоядерными реакторами в энергию для лазерных пусковых установок, чтобы они ударили столбами когерентного света в гигантскую корму «Эвридики» – как пороховые газы в пушечном стволе бьют в дно снаряда. Но прежде пришлось астроинженерными работами освободить луну от ее густой атмосферы, построить радиохимические предприятия и термоядерные силовые установки на континентальной плите у экватора, предварительно растопив ее горы тепловыми ударами, нанесенными со спутников одноразового употребления. Их залпы превратили огромный массив горных пород в лаву, а баллистические криобомбы помогли царящему здесь холоду сковать расплавленное докрасна море, превратить его в равнину искусственного Mare Hercula-neum. На двенадцати тысячах квадратных миль его равнины вырос лес лазерных излучателей, поистине Геркулес этой экспедиции. В решающий день и час он открыл огонь, чтобы столкнуть «Эвридику» с ее стационарной орбиты. Постоянно удлиняющийся столб когерентного света бил в кормовые отражатели корабля, выводя его за пределы Солнечной системы. По мере того как разгоняющий луч ослабевал, корабль включал собственные бустеры, сбрасывая одну за другой их использованные батареи – уже за Плутоном. Только там запели его открытые в вакуум гидродвигатели.

Поскольку они должны были работать все время пути, корабль мог набирать скорость равномерно, благодаря чему на нем действовало тяготение, равное земному. Оно было направлено по продольной оси и только по ней. Поэтому каждый шарообразный отсек «Эвридики» был автономен. Палубы шли в нем поперек корпуса, от борта до борта; идти вверх означало приближаться к носу, а вниз – к корме. Когда корабль тормозил или менял курс, ось тяги отклонялась от оси шаровидных отсеков. Из-за этого потолки могли превратиться в стены; во всяком случае, палубы могли встать дыбом. Чтобы избежать этого, каждый сегмент корпуса заключал в себе шар, способный вращаться в броневой

оболочке, как в подшипнике качения. Гиростаты следили за тем, чтобы на все палубы жилых шаров – их было восемь – сила отдачи всегда воздействовала отвесно. Во время маневров палубы отсеков отклонялись от главной килевой оси корабля. Чтобы и в этом случае можно было переходить из одного отсека в другой, открывалась система дополнительных шлюзов, их называли улитками. Тот, кто ехал по этим туннелям, замечал отсутствие или изменение тяготения, лишь когда лифт проходил межсегментные отрезки корпуса.

Когда настало время первого после старта общего совета, «Эвридике» оставался еще почти год полета с постоянным ускорением и ничто не нарушало установленного тяготения.

Для собраний всего экипажа служил пятый сегмент, называемый парламентом. Под куполообразным потолком располагался невысокий амфитеатр с четырьмя рядами скамей, разделенных на равном расстоянии наклонными проходами. У единственной прямой стены стоял длинный стол – вернее, блок из пультов с мониторами. За ним, лицом к присутствующим, занимали места навигаторы и подчиненные им специалисты.

Особенности экспедиции определили своеобразный состав руководства. Полетом командовал Бар Хораб, энергетикой распоряжался Каргнер, связью – радиофизик Де Витт, а во главе всех ученых, и необходимых во время полета, и тех, которые должны были включиться в деятельность экспедиции только у цели, стоял полистор Номура.

Когда Герберт и Терна вошли в амфитеатр, совет уже начался. Бар Хораб зачитывал собравшимся требования врачей. Никто не обратил внимания на вошедших, только главный врач Хрус, сидевший между командиром и распорядителем мощности, нахмурился в знак недовольства. Они опоздали ненамного. В тишине со всех сторон звучал ровный голос Бар Хораба:

– ...Требуют уменьшения тяготения до одной десятой. Они считают это необходимым для оживления тела, хранящегося в холодильной камере. Это означает уменьшение тяги до нижнего предела. Я могу это сделать. Тем самым вся программа полета, все заготовленные расчеты будут перечеркнуты. Можно составить новую программу. Прежнюю разрабатывали на Земле пять не связанных между собой групп расчетчиков, чтобы исключить возможность ошибок. На это нас не хватит. Новую программу создадут две наши группы; таким образом, она окажется менее надежной, чем предыдущая. Риск

небольшой, но реальный. Итак, я спрашиваю вас: ставить на голосование требование врачей без дискуссии или задать им вопросы?

Большинство высказалось за дискуссию. Хрус не стал отвечать сам, а дал слово Герберту.

– В словах командира кроется некий упрек, – сказал Герберт, не поднимаясь со своего места в верхнем ряду скамей. – Он адресован тем, кто передал нам тела, найденные на Титане, не поинтересовавшись их состоянием. По этому вопросу можно было бы провести следствие и найти виновных. Но есть виновные среди нас или нет, не меняет положения. В нашу задачу входит полное восстановление человека, сохранившегося немногим лучше, чем мумия фараона. Здесь я должен коснуться истории медицины. Попытки витрификации восходят к двадцатому веку. Богатые старики завещали хоронить себя в жидком азоте, надеясь когда-нибудь оказаться воскрешенными. Это была бессмысленная затея.

Замороженный труп разморозить можно, но только затем, чтобы он сгнил. Потом научились замораживать кусочки тканей, яйцеклетки, сперму и простейшие микроорганизмы. Чем больше тело, тем труднее витрификация. Она означает мгновенное превращение всей жидкости организма в лед, минуя фазу кристаллизации, поскольку кристаллики необратимо нарушают тончайшую клеточную структуру. Витрификация же представляет собой оледенение тела и мозга в долю секунды. Молниеносно разогреть любой объект до высокой температуры легко. Гораздо труднее охладить его с той же скоростью до нуля по Кельвину. Колоколообразные витрификаторы, в которых были найдены пострадавшие на Титане, весьма примитивны и действовали грубо. Принимая на борт контейнеры, мы не были знакомы с их устройством. Поэтому состояние тел оказалось такой неожиданностью.

– Для кого и почему? – спросил кто-то из первого ряда.

– Для меня как психоника, для Терны, терапевта по специальности, и, разумеется, для нашего главного. Почему? Мы получили контейнеры без какой-либо спецификации и без схем-витрификаторов прошлого века. Мы понятия не имели, что некоторые колокола с замороженными людьми были частично расплющены ледником и что их заложили в резервуары-термосы с жидким гелием, чтобы перевезти на челноке на наш корабль. Четыреста часов после старта, пока нас разгонял «Геркулес», на корабле была двойная гравитация, и лишь после этого мы смогли приступить к осмотру контейнеров.

– Это было три месяца назад, коллега Герберт, – отозвался тот же голос из нижних рядов.

– Да. За это время мы установили, что наверняка не сумеем оживить всех. Трех пришлось исключить сразу, потому что у них раздавлен мозг. Из остальных мы можем оживить только одного, хотя, в принципе, для реанимации подходят двое. Дело в том, что у всех этих людей в сосудистой системе была кровь.

– Настоящая кровь? – спросил кто-то из другого места зала.

– Да. Эритроциты, плазма и так далее. Данные о крови содержатся в голотеках, но мы не в состоянии были делать переливание крови: ее у нас не было; поэтому мы стали размножать эритробласты, взятые из костного мозга. Кровь теперь есть. Однако обнаружилась несовместимость тканей. Для реанимации годны два мозга. Но жизненно важных органов хватит лишь для одного человека. Из этих двух можно сложить одного. Ужасно, но это так.

– Мозг можно воскресить и без тела, – сказал кто-то в зале.

– Мы не собираемся этого делать, – ответил Герберт. – Мы здесь не затем, чтобы производить чудовищные эксперименты. При теперешнем состоянии медицины они неизбежно будут чудовищны. Но дело не в констатациях, а в полномочиях. Мы вмешиваемся в вопросы навигации как врачи, а не как астронавты. Никто посторонний не может диктовать нам, как поступить. Поэтому я не буду говорить об операции подробно. Необходимо очистить скелет от извести и металлизировать его. Убрать при помощи гелия избыток азота из тканей, использовать для восстановления одного тела остальные. Это наша забота. Я должен лишь объяснить, на чем основано наше требование. Нам нужно максимальное снижение гравитации во время реанимации мозга. Лучше всего была бы полная невесомость. Но мы знаем, что ее нельзя получить без остановки двигателей, что совершенно нарушило бы программу полета.

– Не стоит тратить время на эти соображения, коллега. – Главный врач не скрывал нетерпения. – Командир и собравшиеся хотят знать, чем объяснить это требование.

Он сказал не «наше требование», а «это». Герберт, делая вид, что не заметил оговорки, но убежденный, что она не была случайной, спокойно ответил:

– Нейроны человеческого мозга обычно не делятся. Они не размножаются, поскольку они есть материя человеческой индивидуальности, то есть памяти, и иных черт, обычно называемых характером, душой и так далее. В мозгу людей, витрифицированных на Титане таким примитивным способом, часть клеток утрачена. Мы сможем заставить делиться соседние нейроны, чтобы они, размножаясь, заполняли пробелы, но тем самым лишим индивидуальности размножившиеся нейроны. Чтобы спасти человеческую индивидуальность, нужно, чтобы делилось как можно меньше нейронов, так как производные нейроны пусты и новы, как у младенца. Даже при нулевом тяготении нет уверенности, что воскрешенный в какой-то степени не подвергнется амнезии: некоторая часть памяти необратимо погибает при витрификации даже в самых совершенных криостатах, поскольку тонкие соединения синапсов получают повреждения на молекулярном уровне. Поэтому мы не можем ручаться, что воскресший будет в точности тем человеком, каким был сто лет назад. Мы утверждаем только, что чем слабее будет тяготение во время реанимации мозга, тем больше шансов на сохранение индивидуальности. У меня все.

Бар Хораб с некоторой неприязнью поглядел на главврача, который, казалось, был полностью поглощен изучением документов.

– Считаю голосование излишним, – сказал он. – По праву командира даю распоряжение уменьшить тягу в срок, который назначат врачи, и на необходимое им время. Прошу считать совет законченным.

По залу прошло движение. Бар Хораб встал, коснулся плеча Каргнера, и оба направились к нижнему выходу из зала. Герберт и Терна чуть ли не бегом поспешили к верхней галерее, прежде чем кто-нибудь успел заговорить с ними. В коридоре они встретили доминиканца. Он не сказал ни слова, лишь кивнул и продолжал путь.

– Вот уж не ожидал от Хруса, – бросил Терна, входя вместе с Гербертом в кормовой подъемник. – Зато командир – о! – это человек на своем месте. Я предчувствовал, что на нас набросятся коллеги смежных специальностей, прежде всего наши «психонавты». Но он как ножом отрезал...

Лифт притормаживал, огоньки проплывали мимо все медленнее.

– Велика важность – Хрус, – буркнул Герберт. – Если хочешь знать, Араго разговаривал с Хорабом прямо перед советом.

– Откуда ты знаешь?

– От Каргнера. Араго был у Хораба до разговора с нами.

– Ты думаешь, что...

– Не думаю, а знаю только, что он нам помог.

– Но как теолог.

– Я не разбираюсь в этом. А он разбирается и в теологии, и в медицине. Как он сочетает одно с другим – его дело. Пошли переодеваться, нужно все приготовить и назначить время.

Перед операцией Герберт еще раз перечитал присланный из голотеки протокол. В ходе работ тяжелые планетные машины остановились, так как их датчики обнаружили присутствие металла и укрытой в нем органической материи. Один за другим из бирнамских развалин были извлечены семь старинных большеходов с шестью телами. Два Диглатора были на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. Один был пуст, в другом – человек в колоколе витрификатора. В этот ледник вгрызались экскаваторы восьмого поколения, по сравнению с которыми Диглатор был карликом. Руководство работ остановило гигантские автоматы и выслало на поиски остальных жертв – бирнамская впадина поглотила девятерых – шагающие буровые машины с высокочувствительными биосенсорами. Никаких следов человека, покинувшего свой Диглатор, обнаружено не было. Броня большеходов прогнулась под горами льда, но витрификаторы сохранились на удивление хорошо. Группа наблюдения собиралась немедля выслать их на Землю для реанимации, но это значило, что замороженные тела трижды подвергнутся перегрузке: при старте челнока с Титана, при разгоне транспортной ракеты на линии Титан – Земля и при посадке на Землю. Просвечивание контейнеров показало тяжелые повреждения всех тел, в том числе переломы основания черепа, поэтому столь сложная транспортировка была признана рискованной. Тогда кому-то пришла в голову мысль передать витрификаторы на «Эвридику», которая располагала новейшей реанимационной аппаратурой, к тому же ускорение при отлете

должно было быть невысоким из-за гигантской массы корабля. Оставался вопрос идентификации тел, невыполнимой до вскрытия контейнеров. Хрус, главный врач «Эвридики», принял решение – по согласованию с руководством и штабом SETI[3 - Поиск внеземного разума.], – что точные сведения о людях, похищенных льдами Титана, и их имена будут переданы по радио с Земли, так как все диски компьютерной памяти, изъятые ранее, лежали в архивах швейцарского центра SETI. До момента старта каналы связи были забиты, кто-то или что-то – человек или компьютер – сочли передачу этих данных не важной, и «Эвридика» покинула окологлунную орбиту прежде, чем врачи узнали об отсутствии этой информации. Обращение Герберта к командиру не привело ни к чему, поскольку корабль уже набирал скорость, толкаемый лазерами «Геркулеса», как снаряд. В фазе разгона Титан принимал на себя всю мощь световой отдачи, и планетологи опасались, что он может развалиться. Опасения не сбылись, но разгон шел далеко не так гладко, как ожидали авторы проекта: «Геркулес» вмял лунную кору в литосферу, резкие сейсмические волны стали раскачивать лазерные разгонные установки, и, хотя они выдержали эти земле-, а точнее, титанотрясения, световой столб дрожал и смещался. Пришлось уменьшать силу излучения, пережидать, пока затихнут колебания, и заново наводить сфокусированные лазерные лучи на зеркальную корму корабля. Из-за этого прервалась связь, скопилась не высланная вовремя информация, и, что хуже всего, Титан, два года назад выведенный из окрестностей Сатурна и заторможенный во вращении – чтобы «Геркулес» мог разогнать «Эвридику», – сам начал вибрировать. Сотни тысяч старых термоядерных головок, вбитых в тяжелую луну как аварийный резерв, в конце концов погасили дрожь. Это далось нелегко. В результате реаниматоры долго не могли приняться за работу, так как «Эвридика» несколько недель то ловила, то вновь теряла солнечный столб, и его попадания в корму отдавались ударами по всему кораблю.

Трудности с фокусировкой излучения, сейсмические сотрясения Титана, неполадки с несколькими батареями бустеров отсрочили операцию, а многие члены экипажа оправдывали отсрочку и тем, что шансы на возвращение найденных к жизни кажутся слабыми. С каждым днем постоянное увеличение скорости ухудшало связь с Землей, а кроме того, в первую очередь шли радиограммы, от которых зависел успех экспедиции. Наконец корабль получил с Земли имена пяти погибших, их фотоснимки и биографии, но и этого не хватало для установления личности. При витрификации происходило что-то вроде взрыва, и лицевая часть черепа разрушалась. Вторичные взрывы внутри криотейнеров сдирали с замороженных тел одежду, а ее остатки вытеснялись кислородом из лопающихся скафандров в азотные гробы и обращались в прах. Затем начались переговоры с Землей о пересылке отпечатков пальцев, зубных

карт – их получили, но это только усилило путаницу. В результате старинного соперничества Грааля и Рембдена компьютерные дневники проводимых работ были в беспорядке, к тому же никто не знал, какая судьба постигла часть сохранившихся дисков памяти – были ли они уничтожены или попали в архивы за пределами Швейцарии. Человек, который мог ожить на «Эвридике», несомненно, носил одну из шести фамилий: Анзель, Навада, Пиркс, Кохлер, Парвис, Ильюма. Докторам оставалось надеяться на то, что, выйдя из реанимационной амнезии, спасенный узнает свою фамилию в списке – если сам не будет в состоянии ее вспомнить. На это рассчитывали Хрус и Терна. Герберт, психоник, сомневался. Когда время было назначено, он отправился к командиру, чтобы изложить эту проблему. Практичный, рассудительный Бар Хораб счел, что есть смысл снова обследовать содержимое витрификаторов, из которых были изъяты тела.

– Лучше всего подошли бы криминологи, судебные эксперты, – заметил он. – Но так как их у меня на борту нет, вам помогут... – он подумал, – Лакатос и Беля. Физик – тоже вроде детектива, – добавил он с улыбкой.

Почерневший, будто закопченный, контейнер, похожий на помятый саркофаг, был доставлен на уровень главной лаборатории. Его ухватили массивными щипцами, наложили ключи на наружные запоры, и он медленно, с пронзительным скрежетом открылся. Черное нутро зияло из-под крышки гроба. Скафандр съезжился – его владелец уже несколько недель вместе с азотной глыбой, в которую он был заморожен, находился в жидком гелии. Лакатос и Беля извлекли пустой скафандр и разложили его на низком металлическом столе. Его уже осматривали, когда извлекали тело, но тогда не было найдено ничего, кроме смерзшихся обрывков ткани и запутавшихся в кабеле трубочек климатизации. Теперь покрытый инеем скафандр распороли: от кольца, к которому крепится шлем, вдоль торса, надувных штанин – и до огромных башмаков. Из трухи извлекли перекрученные спиральные трубки и куски кислородных шлангов, старательно все обследовали: каждый обрывок рассматривали под лупой; наконец Беля, вооружившись переносной лампой, влез в цилиндрический криотейнер. Чтобы облегчить ему задачу, манипулятор разъял бронированные листы и широко растянул их. Швы, соединяющие рукава скафандра с оболочкой торса, были порваны – либо когда Диглатор прогнулся под тяжестью ледяных завалов Бирнамского леса, либо от внутреннего давления при взрывной витрификации. Если заключенный в нем человек имел при себе какие-либо личные вещи, они могли быть через разрывы скафандра вытеснены в контейнер вместе с потоками застывающего азота и человеческой крови – в тот момент, когда на открытое до тех пор входное отверстие

контейнера падало выстреленное сверху забрало, колпак из специальной стали, отрезающий от внешнего мира того, кто умирал в скафандре.

Для того чтобы снять колпак с контейнера, потребовался гидравлический зажим, так как щипцовый манипулятор оказался слишком слабым. Оба физика и врач отошли от платформы на несколько шагов, поскольку операция была достаточно грубая. Прежде чем колпак, похожий на головку громадного артиллерийского снаряда, дрогнул и начал сползать с верхней части контейнера, из-под ванадиевых клыков полетели толстые обломки панциря. Люди ждали конца операции. Как только черные как уголь обломки перестали сыпаться и колокол, сорванный с криотейнера, обратил к ним пустую внутренность, Лакатос поднял его четвероруким манипулятором под потолок, а Беля уже собрался обследовать контейнер еще раз, но тут все замерли, потому что листы обшивки дрогнули и, распадаясь по швам, медленно упали на платформу, как бы повторяя когда-то пережитую агонию. Механические челюсти перенесли тяжелый колпак по воздуху на другую сторону зала и уложили там, как половинку пустой бомбы, с такой осторожностью, что он лег на алюминиевую поверхность без звука.

Беля подошел к распавшемуся контейнеру. Внутри его темнели сухие, слоистые куски прокладки, похожие на увядшие, обожженные листья. Лакатос заглядывал Беле через плечо. Он неплохо знал историю витрификации. Во времена Грааля и Рембдена верхняя часть насаживалась на контейнер с человеком при помощи пиропатронов, чтобы процесс ледового остекления прошел как можно быстрее. Замораживаемый должен был снять шлем, хотя оставался в скафандре. Чтобы удар не размозжил ему голову, колпак был выложен надутыми воздухом подушками. Они лопались при ударе, защищая замораживаемого, пока вонзившийся ему в рот конус впрыскивателя вливал в него жидкий азот – как правило, ломая зубы, а иногда и челюстные кости. Задача состояла в том, чтобы мозг застывал со всех сторон одновременно, то есть и от основания, расположенного сразу над небом. Тогдашняя техника не могла исключить подобные травмы. Физики понемногу извлекали слои истлевших прокладок, укладывали их рядами, пока инструменты не обнажили металлическое дно криотейнера. Среди рассыпающихся фрагментов обнаружили объект, тоже измятый, но сохранивший вид книжечки с обгоревшими, как в огне, углами. Наполовину обуглившийся предмет был настолько хрупок, что от прикосновения рассыпался в труху, и они уложили его под стеклянный колпак, потому что даже дыхание человека могло ему повредить.

– Похоже на небольшой чехол. Может быть, из кожи животного. Хранилище документов. Люди тогда носили подобные вещи с собой. А документы были главным образом из целлюлозы, переработанной в бумагу, – сказал Бея.

– И из пластиковых полимеров, – добавил Герберт.

– Неутешительно, – отозвался физик. – В таких условиях целлюлоза сохраняется не лучше, чем старинные пластики. Как это могло попасть сюда?

– Легко себе представить. – Лакатос развел и сдвинул руки. – Когда он нажал на кнопку, нижний колокол закрыл его с ног до груди, и тут же отстреленная верхняя часть надвинулась на нижнюю. Взрывные заряды были, разумеется, не такие, чтобы раздавить человека. Азот наполнил скафандр, так что тот лопнул под мышками, и вытесняемый воздух мог содрать одежду. Взрывная волна гранаты при близком взрыве часто раздевала солдат...

– Как мы с этим поступим?

Герберт смотрел, как физики наполнили стеклянный колпак быстрозастывающей жидкостью, как вынули отливку, в которой, подобно насекомому в янтаре, темнел плоский черный предмет, и принялись за анализы. Они обнаружили химикалии, употреблявшиеся некогда для печати на бумажных банкнотах; органические соединения, типичные для кожи животных, дубленой и окрашенной; слабые следы серебра. Очевидно, там были остатки фотоснимков, так как для них использовались соли серебра. Меняя жесткость излучения, упрочнив вынутый из отливки фрагмент, они наконец извлекли запутанный палимпсест – беспорядочную мешанину букв и маленьких кружков – возможно, печатей. Хроматограф отделил тени типографских букв от чернил письма, так как, по счастью, в чернилах имелись минеральные добавки. Остальное сделал микротомограф. Результат оказался скромным. Если они действительно обнаружили удостоверение личности, что было похоже на правду, то имя прочесть не удалось, а в фамилии различима была только первая буква, «П». Фамилия могла содержать от пяти до восьми букв. С буквы «П» начинались фамилии двух человек, оживить они могли одного. И они вызывали на мониторы спинограммы всех, кто плавал в жидком гелии. Послойное просвечивание, гораздо более точное, чем отошедший в прошлое рентген, позволяло установить возраст жертв с точностью до десяти лет по уплотнению суставных хрящей и кровеносных сосудов, поскольку при жизни этих людей медицина еще не умела бороться с изменениями, называемыми склерозом. Оба кандидата на

реанимацию обладали схожим телосложением; лицевые части черепа требовали восстановления с помощью пластической хирургии, группы крови были схожи; судя по обызвествлению ребер и менее заметному – аорты, обоим было по тридцать-сорок лет. Судя по жизнеописаниям, содержащим историю перенесенных заболеваний, ни один из них не перенес операции, оставляющей след на тканях тела. Врачи знали об этом, но хотели воспользоваться помощью физиков: просвечивание основывалось на магнитном резонансе атомных ядер в организме. Физики только покачали головами: ядра постоянных элементов столь же хороши, сколь безвозрастны. Другое дело, если бы в телах этих людей оказались изотопы. Они действительно были, но и это ничего не дало. Оба подверглись облучению порядка 100–200 ремов. Скорее всего, в последние часы жизни.

Внутренние органы человека – если рассматривать их изображения в аппаратуре – зрелище достаточно безличное и абстрактное. Но вид обнаженных трупов, вмёрзших в азотный лед под слоем гелия, и особенно – их размозженных лиц, был таков, что Герберт предпочел избавить физиков от этого зрелища. У обоих мертвецов сохранились целыми глазные яблоки, что только прибавляло врачам волнений, так как слепота одного неизбежно решила бы вопрос об оживлении в пользу сохранившего зрение. Когда физики ушли, Терна сел на платформу со вскрытым контейнером; так и сидел, не говоря ни слова. Герберт не выдержал напряжения.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

последнее прибежище (лат.).

2

Здесь: безусловно (лат.).

3

Поиск внеземного разума.

----

Купить: <https://tellnovel.com/ru/stanislav-lem/fiasko>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)